

В. ХАНЖИН • НОЧНОЙ ЗВОНОК

В. ХАНЖИН

ВЛАДИМИР
ХАНЖИН

Ночной Звонок

ВЛАДИМИР ХАНЖИН

Ночной звонок



Рассказы



СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
МОСКВА 1960



ПЕРЕД НОВОСЕЛЬЕМ



оездной диспетчер Глеб Абакумов поспешно встал — в дверях показался заместитель начальника отделения Лямин.

— Садитесь, Глеб, садитесь, — сказал вошедший и, неторопливо, вперевалочку приблизившись к диспетчеру, дружески положил руку на его плечо.

Мешковато сидящий, распахнутый пиджак Лямина едва охватывал его крупную фигуру. Ворот сорочки был тоже распахнут — Лямин не любил галстука, даже в торжественные дни его не надевал. Полное, округлое лицо выражало благодушие и уравновешенность. Это впечатление усиливала трубка, которой Лямин постоянно попыхивал.

Перед ними на покато диспетчерском столе — график движения. Часть листа уже покрыта цветной паутиной линий. Они показывали, как прошли поезда за минувшие часы дежурства.

Лямин, посапывая трубкой, привычно

вглядываясь в замысловатое сплетение красных, синих и черных нитей, потом пробежал глазами по свежим цифровым отметкам внизу и сбоку листа — в табличках и на схемах.

— Что ж, чудесно! Вот только Ямской комбинат подводит. Придется нам потревожить кое-кого.

Чтобы подойти к телефону, ему пришлось обогнуть сидящего Абакумова. При этом Глеб прижался к столу, а Лямин, протискиваясь между стеной и стулом диспетчера, поднялся на носки и втянул живот. Теснота! Комната для одного работника не так уж мала, но диспетчерский стол — это же целое поле, да еще с пристройками для селектора, для телефонов.

Лямин взял трубку и попросил соединить его с одним из секторов отделения.

— Надо нажать на лесокомбинат, — начал он с некоторой возбужденностью, когда сектор ответил ему. — Опять не берут вагоны. Ведь Ямская просто по завязку забита, дышать нельзя...

Конечно, он выражался слишком сильно — свободных путей в Ямской еще хватало. Но таков уж Лямин: если хвалил — не жалел самых лестных оценок, если был недоволен — сгущал краски.

Наблюдая за ним, Глеб думал: «Вот это стиль! Мигом нащупал слабое место — и пожалуйста, уже принял меры. Оперативность! И без крика, без трепки нервов, не так, как Башлыков, начальник отделения.

Тот бы непременно принялся сам называть в Ямскую — и на станцию, и на комбинат. А не приведи боже, какое-нибудь более серьезное осложнение! Побагровеет, раскипятится, сядет за селектор и начнет командовать вместо диспетчера».

Положив трубку, Лямин отошел к открытому, словно врезанному в чистую голубизну неба, окну, и Абакумов снова сосредоточил свое внимание на графике. В репродукторе селектора раздалось легкое урчание, а мгновение спустя высокий женский голос бойко позвал:

— Диспетчер, диспетчер!

Не нагибаясь к микрофону, Глеб отозвался:

— Я диспетчер.

— Докладывает дежурная по Ямской. Четыреста восьмой проследовал в девять двадцать шесть.

— Хорошо. — Глеб взял карандаш и линейку, склонился над графиком.

— А как сборный, задерживается или нет? — громко протараторила дежурная по Ямской.

— Ждите вовремя.

В окно залетела пушинка тополиного семени. Лямин протянул руку — крохотный белый парашютик опустился на ладонь.

— Говорят, скоро у вас и свадьба, и новоселье — все сразу? — неожиданно спросил он.

Смушенный Глеб кивнул головой.

— А потом, как полагается, отпуск,

медовый месяц, — продолжал Лямин. — Да-а, во всех отношениях медовый. Дни-то какие стоят божественные! Не надышишься. Нектар!

Он шумно, с наслаждением втянул в себя воздух, расправил грудь и плечи и произнес что-то среднее между «эх!» и «ах!». Потрепав диспетчера по льняным волосам, снова протиснулся за его стулом и вышел.

Глеб сиял. Да и как же иначе, если начальство без обиняков говорит о новоселье! Значит, ордер на комнату в новом доме на Пушкинской почти в кармане.

Правда, список заселения дома на Пушкинской еще не подписан начальником отделения. А от него жди всяких сюрпризов. Положим, Лямин за своего диспетчера постоит. Но Башлыков — ох и характер! Себя уморишь, а на него не угодишь.

Да вот, кажется, он сам пожаловал в диспетчерскую. В коридоре ни души. И соседей не слышно. Даже диспетчер Кокуев, уж на что любитель покричать у селектора, и тот поутих.

Глеб нервничал. Нельзя сказать, чтобы он боялся Башлыкова. Пожалуй, он испытывал это чувство месяца два тому назад. Тогда Башлыков только что принял отделение. Глеб и боялся начальника и желал встречи с ним именно здесь, в диспетчерской. Шутка ли — Башлыков сам лет десять на диспетчерском круге просидел и заместителем начальника отделения по

эксплуатации успел поработать. Мало того — специальные курсы при институте окончил, получил диплом инженера-эксплуатационника. Такой только глянет на диспетчерский стол, на график исполненного движения — сразу любую оплошность увидит.

И получалось: с Башлыковым встречаться — как экзамен держать. А кто же экзамена не боится? Но и проверить себя хотелось, дельный анализ своих действий услышать.

Но теперь Глеб уже не ждал от прихода Башлыкова ничего хорошего. Пожалуй, больше всего он тревожился об одном — как бы не вспылить, не наговорить дерзостей. Такой нестерпимой неприязни, какую вызывал в нем начальник отделения, Глеб, кажется, еще никогда и ни к кому не питал.

Автоматически поглядывая на стенные часы, он продолжал переговариваться по селектору с дежурными по станциям лаконичными, обрывочными фразами, чертил цветными карандашами линии движения поездов — словом, по-обычному делал свое дело, но внутренне весь насторожился, ожидая с минуты на минуту прихода Башлыкова. Лыняной чуб свесился до самой переносицы, на побледневшем, упрямом лице около левого глаза особенно резко выступили частые синие точки — следы рискованных забав с порохом в детстве.

Дверь открылась от короткого толчка, и вошел начальник отделения, невысокий ростом, ладно и крепко сложенный человек.

Он скуп на движения, но каждый жест сильный, уверенный. Вокруг высокого, посеченного глубокими морщинами лба жесткие рыжеватые волосы.

Бросил невнятное:

— Здрас...

И сразу к графику:

— Ну-ка, что у вас тут?

Склонился над столом рядом с Абакумовым.

Диспетчера вызвала станция Чибис. Короткий разговор — считанные слова, но пока он шел, начальник отделения успел прикинуть, что плохо и что хорошо на участке.

— С какой стати у вас маневровый в Вязовке болтается? — спросил он, едва Глеб оторвался от микрофона.

«Началось», — отметил про себя Абакумов и сказал с вызовом:

— Маневры производят.

— А в Ямской кто сборному вагоны подготовит?

— Я договорюсь с машинистом поездного локомотива.

— Надо уметь как следует маневровым распоряжаться.

— Но в Вязовке много работы.

— Надо уплотнять операции.

— Мне кажется, я сделал все возможное.

— Ни черта вы...

Не договорив, Башлыков вызвал Вязовку. Молодой голос откликнулся с веселой готовностью;

— Вязовка внимательнейшим образом слушает.

— Чего маневровый держите?

Поняв, кто у селектора, дежурный мигом посерьезнел:

— По разрешению диспетчера, товарищ начальник.

— Диспетчера, диспетчера! — проворчал Башлыков. — Самим, между прочим, тоже соображать надо. Чем маневровый занят?

— Как чем?..

И дежурный начал докладывать, какие необходимы перестановки вагонов на станции и у пакгаузов, что придется подать на подъездные пути и что взять оттуда. Перед глазами Глеба стояла станция Вязовка с ее двумя ответвлениями — на элеватор и в совхоз. Он видел, где находится сейчас каждый вагон, представляя себе каждый рейс маневрового паровоза, и был убежден, что операции уплотнены до предела и никакого просчета не допущено. Зря, что ли, Лямин с такой похвалой отзывался о дежурстве! Но разве Башлыков бывает когда-нибудь доволен? Да он просто не может не придирааться, не брюзжать, не крутить носом. Его отношение к диспетчерскому аппарату отделения выражается примерно так: «Хорошо командовать участком смог бы только я, сносно вести дело способны два-три старых заслуженных диспетчера, а остальные — неучи и недотепы».

Вязовка закончила доклад. Глеб представлял, как дежурный по станции, взвол-

нованный, напряженный, стоит у аппарата и как притаились, застыли все, кто оказался в этот момент около него.

Над диспетчерским столом, на всю длину его, в рамке под стеклом — профиль пути и схемы станций. Башлыков внимательно посмотрел на схему Вязовки, помолчал, потом скомандовал:

— Заберите в совхозе крытый порожняк и немедленно отправляйте маневровый в Ямскую.

Выключив селектор, начальник движения снова склонился над графиком.

— По пустякам копаетесь в Вязовке, держите маневровый сутки, — ворчал он.

Глеб кипел. Что ни слово Башлыкова — так вопиющая несправедливость. Целые сутки! Разве сутки? И почему «копаетесь»? Почему «по пустякам»? Разве Глеб или дежурный по Вязовке виноваты, что накануне на станции накопилось много вагонов?

— Что слышно с лесокомбината?

— Товарищ Лямин... — начал Глеб, но Башлыков оборвал его:

— Знаю, что Лямин звонил. А вы? Вы сами какие меры приняли?

— По-моему, в обязанности поездного диспетчера не входит...

— Что не входит?

— Звонить клиентуре. Кому же тогда заниматься движением поездов?

Башлыков зло взглянул на диспетчера и, ничего не ответив, вызвал междугородную.

— Ямскую. Директора лесокомбината!

Линия оказалась занятой.

— А, черт, когда вам ни позвони, вечно у вас занято. Как освободится, соедините. Я буду у себя.

Бросил на рычаг трубку, повернулся к Глебу и медленно, отчеканивая каждое слово, сказал:

— Пора усвоить, что диспетчер должен обеспечить четкую работу участка. Он не попугай, а руководитель. И у него, между прочим, должна голова работать. А если голова не варит, так нечего на диспетчерский круг садиться.

С этим и вышел.

Глеб в сердцах так швырнул карандаш, что тот, отскочив от стола, едва не вылетел в окно. Сколько еще можно терпеть?! Никакого уважения к людям! Хуже — самодурство какое-то! Ну, нет уж, довольно! Завтра — производственное совещание отдела эксплуатации, и завтра надо выложить все. Пора начать серьезный разговор, разговор начистоту. И он, Глеб Абакумов, начнет его. Он начнет его так...

— Диспетчер! — снова прозвучало в репродукторе.

— Я диспетчер.

— Дежурный по Рябинихе говорит.

— Слышу.

— Пятьсот сорок седьмой прибыл в десять пятьдесят одну, — не спеша, густым, трубным голосом доложил дежурный.

— На сорок минут опаздывает, чтоб ему!

Пятьсот сорок седьмой — это товарный

состав. На пятки ему наступает пассажирский. Значит, надо где-то пропустить пассажирский вперед, а товарняк задержать. Но где? В Рябинихе? Нет, в Рябинихе нельзя — туда с противоположной стороны тоже пассажирский запросился. В Ямской? И думать нечего. В Ямской и без того трудно, недаром же Башлыков тарарам поднял. Где же?..

Дежурный по Рябинихе пробасил:

— Может, нагонит пятьсот сорок седьмой-то? Я минут на десять мог бы пораньше выпустить.

— Подожди, подожди!

Что, если в самом деле попробовать? Договориться с машинистом — пусть жмет. Да нет, вряд ли получится: все время подъем, кривые — тяжелый участок. И в Чибисе набирать воду. А что, если не набирать? Если Чибис с ходу?

— Рябиниха? — позвал Глеб.

— Слушаю, — прогудел репродуктор.

— Позовите машиниста пятьсот сорок седьмого.

— Сейчас.

Еще поддержит ли машинист? Разве он виноват, что поезд давно выбился из графика? С какой же стати он согласится Чибис без набора воды проскакивать? Как-никак риск...

Абакумов позвонил паровозному диспетчеру:

— Кого с пятьсот сорок седьмым отправил?

— Касьянова.

— Касьянова! Ну, брат, спасибо!

Хоть тут повезло — машинист попался хороший. Интересно, какой состав? Абакумов глянул на отметки о весе и длине пятьсот сорок седьмого и снова помрачнел — на четыреста с лишним тонн выше нормы. На таком трудном участке, с таким составом и Касьянов не ликвидирует опоздание.

— Касьянов слушает, — раздалось в репродукторе.

Голос у машиниста спокойный, ровный и внушительный — голос человека, привыкшего к уважительному к себе отношению.

Глеб замялся.

— Есть у меня одна мысль...

— Ну, ну, что такое?

— Не знаю, правда, выйдет ли...

Неуверенный тон Абакумова меньше всего напоминал ту грубоватую, официально-жесткую манеру разговора, в какой обычно обращаются диспетчеры к машинистам. Но именно это обеспокоило умного Касьянова, и он уже по праву более опытного и старшего годами твердо потребовал, чтобы Глеб разъяснил свое предложение. Выслушав, помедлил немного с ответом.

— Что ж, постараюсь. Только уж давайте и Чибис и Вязовку — с ходу.

— И Вязовку? Здорово!.. Хорошо, обещаю зеленый в Вязовке.

Вспомнилось башлыковское: «А если голова не варит, так нечего...» Ожесточение вспыхнуло с новой силой. «Это у вас, това-

риш Башлыков, не варит. Пришли, наорали и думаете, что обеспечили руководство? Ну, ничего, товарищ начальник, диспетчер Абакумов еще покажет себя — и здесь, у селектора, и там, на совещании».

* * *

Подруги удивились:

— Ты хочешь идти в этом платье?

— Да, в этом. А что? — Таня оправила белый воротничок на стареньком синем платье с форменными пуговицами, которое осталось у нее еще от ремесленного училища.

Подруги переглянулись, ничего не сказав, но лицо каждой яснее ясного говорило: «Поступай как хочешь, я бы оделась по-другому».

Таня задумчиво улыбнулась и посмотрела на два своих выходных платья, которые она вынула из шифоньера и повесила на спинку кровати. Одно совсем новое, из крепдешина. Деньги на него копила почти четыре месяца. И как повезло — попался именно такой фасон, о котором мечтала. И расцветка по душе — не очень пестрая, не кричащая, но достаточно яркая. Второе платье хотя и подешевле, но зато особенно любимое. Купила его на первые свои заработки после окончания ремесленного. И как раз премировали тогда. Хорошо поработала на выпуске манометров специального назначения. Денег все-таки собралось маловато, и когда примеряла платье

в магазине, все боялась, что не хватит расплатиться. А купить очень хотелось. Волновалась так, что даже не запомнила, как материал называется.

И вот деньги уплачены, чек отдан продавцу, и ее покупку бросают на широкий глянцевый лист бумаги. Как хотелось, чтобы платье не заворачивали, а снова отнесли в кабину, где его сразу можно будет надеть! Конечно, она постеснялась попросить об этом. Каким же невероятно долгим показался ей в тот день путь до общежития!

Но сегодня она пойдет в своем стареньком форменном платье.

— Только в нем, только в нем, девочки! — сказала Таня и повернулась к небольшому зеркалу, которое висело на стене у дверей.

Скоро Таня уедет отсюда. На месте останется ее узенькая кровать, не очень мягкие, пышнобокие подушки, колючее одеяло...

Она оглядела себя в зеркало. Интересно, изменилась ли за год, что прошел после первой встречи с Глебом? Нет, не изменилась. Лишь косы теперь завязаны в узел, в остальном та же девочка в синем форменном платье с белым воротничком, отороченным кружевами. Что ж, косы можно откинуть за спину. Все как тогда.

Проворно вынимая шпильки из волос и зажимая их во рту, Таня продолжала придирчиво осматривать себя. Веснушек очень много выпало, особенно около глаз.

Попудриться немного? Не надо. Тогда не пудрилась, и сейчас незачем.

Косы упали на спину. Таня подбежала к своей тумбочке и сунула в нее шпильки. Еще раз, на расстоянии, она глянула в зеркало, одернула платье и, повернувшись на каблуках, улыбнулась подругам:

— Счастливо, девочки!

Сбежав на крыльцо, Таня сощурилась. Какое ясное небо! На нем ни пятнышка. Лишь серебристая точка — самолет отважно вычертил от горизонта к самому зениту белую стрелу.

Солнце щедро лучилось светом, и хотелось все время чувствовать его мягкое, ласковое тепло.

Троллейбусная остановка. И зачем так спешить? Даже жарко. Времени в запасе еще много, — что, если, не доезжая до парка культуры, сойти на Пушкинской улице?..

Ей стало неловко, словно кто-нибудь мог прочесть ее мысли. Вчера Таня уже заглядывала на Пушкинскую. И позавчера тоже. Нельзя же изо дня в день. Еще кто-нибудь внимание обратит. Строители, например. Они доделывают там что-то, дом не сдан, работы какие-то ведутся.

«А может быть, все же зайти?..» Она улыбнулась своему лукавому «может быть». Конечно, она не вытерпит, конечно, зайдет. Иначе зачем же она выбежала пораньше из общежития, зачем спешила на троллейбусную остановку? Она хотела заглянуть, просто не могла не заглянуть на Пушкин-

скую. Глупо? Смешно? Ну и ладно! Все равно Глеб ничего не узнает. Глеб думает, что она приходила туда только с ним. И пусть не узнает. Зато она еще раз увидит их дом...

Скоро — да, да, теперь уже скоро — наступит день, когда она и Глеб войдут туда, чтобы всегда быть вместе.

Из-за поворота на шоссе показался троллейбус. Он рос на глазах. Вот уже хорошо видны буквы, обозначенные над кабиной: справа — «ЗИП», слева — «ПКиО». Завод измерительных приборов — Парк культуры и отдыха. Конечно, для водителя, что лихо крутил баранку, поворачивая троллейбус по кольцу, для ожидающих машину пассажиров это только конечные остановки. А для Тани они означали целые этапы жизни, и, пожалуй, самые значительные. Неспроста же троллейбус, связывая завод и парк культуры, идет через Пушкинскую улицу и даже останавливается на ней.

Парк культуры — это Глеб, это знакомство с ним, такое смешное и необычное, ровно год назад. ЗИП — это короткое слово звучало для Тани сейчас почти так же, как звучат слова «отец» и «мать». И между заводом и парком — Пушкинская улица.

...Центр города. Троллейбус то пронизывали солнечные лучи, то накрывали тени; у Тани даже глаза разболелись от этого чередования.

Можно выходить — Пушкинская. На ней

ни магазинов, ни учреждений. Улица казалась безлюдной. Она словно дремала, одурманенная густой смесью запахов цветущих деревьев. Деревьев много. Они выстроились двумя рядами и, соединяясь ветвями, образовали над мостовой зеленый полог.

Когда сетка листвы редела, Таня видела на противоположной стороне белокаменные этажи нового дома.

Тротуар перед домом черный, недавно заасфальтированный. Ветерок катал по нему несколько желтых колечек деревянной стружки. Сейчас Таня перейдет улицу.

Что, если сегодня набраться смелости и войти в дом? Разве это кому-нибудь помешает? Она поднимется по лестнице и, пожалуй, заглянет в одну-другую дверь. Конечно, надо зайти. И как она раньше не решалась...

Убыстря шаги, Таня уже повернула на мостовую, но тотчас же отпрянула назад. Из дома вышел Глеб. Вся сжавшись, она спряталась за деревом, и Глеб не заметил ее. Он постоял немного в раздумье и направился вдоль дома, решив, очевидно, обойти его кругом. Шел он не очень уверенно, смущенно поглядывая вокруг и ухмыляясь.

Высокая фигура Глеба скрылась за углом дома, а Таня кинулась бежать назад.

Ой, как же хорошо, что они не столкнулись! Глеб мог подумать бог знает что... Впрочем, что подумать? Сам-то он тоже пришел. Значит, с ним творится то же, что

и с ней. «Глебушка, милый, как же это славно!»

И все-таки очень хорошо, что они не столкнулись! Иначе им пришлось бы идти в парк вместе и все, что они так интересно задумали, рухнуло бы. Они решили в точности повторить «тот» вечер. В точности. Все как «тогда».

Итак, ровно год назад, шесть часов... Ну, самое главное — она еще не знала Глеба, и ей надо сейчас забыть, что он существует. Не думать о нем, совершенно не думать... Ох, как это, оказывается, трудно!

Дальше. Она была не одна, с подругой. О чем они болтали?.. Разве теперь припомнишь? Возможно, о заводе — как-никак первые месяцы после ремесленного... Пусть о заводе.

«Итак, с этой минуты думай о заводе...»

* * *

В тот предвечерний час в аллеях парка еще играли дети, мамы везли коляски с малышами, и лишь в самых отдаленных уголках сидели тихие молодые парочки. Посетители, что пошумливее, собрались около аттракционов и тира. Здесь хлопали ружейные выстрелы, поскрипывали качели. На карусели звучала бодрая музыка. Гонимая друг за другом, мелькали счастливые, улыбающиеся лица ребятишек. Под седоками неслись ошалелые коняшки, а сверху рассы-

пали мелкий стремительный перезвон стеклярусные украшения.

Липовая аллея. Таня полюбила ее еще до знакомства с Глебом. Провожая девушку, могучие, вековые деревья то притихали, словно прислушиваясь к ее шагам, то, треща листвою, доверительно перешептызались.

Вот и скамейка, на которой сидели Таня с подругой. Нынче она окрашена в бежевый цвет вместо тогдашнего зеленого. Конечно, бежевый лучше. Сидела Таня вот так — глубоко, вплотную к спинке.

Пора бы появиться Глебу... Идет. Силится скрыть улыбку. Еще не выдержит, расхохочется. Нет, крепится. Даже изменился в лице — принял вдруг какой-то легкомысленный, озорной вид. Ну совсем как «тогда»! Засунул руку в карман, вынул розовую ленту и, поравнявшись с Таней, беззаботно сказал:

— Девушки, вы не обидитесь, если я вам сделаю маленький подарок? Вот выиграл сейчас, а она совсем ни к чему.

Повторяя в точности прошлогодную встречу, Таня нахмурилась и, ничего не ответив, отвернулась.

— Не берете?... Жаль! Да вы не обижайтесь, я же от всей души.

Таня встала и молча пошла от него по аллее.

Как и в «тот» вечер, она побродила около танцевальной площадки, посмотрела на аттракционы и вернулась в «свою» ал-

лею, к «своей» скамье. «Тогда» ей было чуть-чуть грустно. Глубоко в душе, не смея признаться подруге, она жалела, что ничего не ответила ему и так неловко, нескладно прекратила знакомство.

Но он появился снова.

— Ну, не сердитесь, девушки! Право, больше некому отдать ленту... Возьмите уж, а?

На этот раз Таня подняла на него глаза и сдержанно улыбнулась. Он назвал свое имя. Таня привстала. Ей следовало сказать: «Таня. Таня Стрелкова» и еще, как «тогда», нерешительно протянуть руку. Но...

— Ой, мочи нет! Ой, умру, Танюша! — Глеб хохотал, вытирая слезы кстати оказавшейся в руке лентой.

Конечно, ничего подобного в «тот» вечер не было — просто Глебу изменила выдержка и он, перемахнув через триста шестьдесят пять дней, вернулся к действительности.

— Ну вот, все испортил! — попробовала надуться Таня.

— Ох, Танюша, поглядела бы ты на себя! Словно аршин проглотила. А лицо — просто икона!

Он снова принялся хохотать. Таня, забыв, что хотела обидеться, тоже рассмеялась и дернула его за чуб.

— Вот тебе!

Она вскочила, Глеб кинулся ее ловить, и они несколько раз обежали вокруг скамьи.

В конце концов, выбрав момент, когда Таня задержалась против него по другую сторону скамьи, он ловким прыжком перескочил через спинку сиденья, и девушка сразу же оказалась в его объятиях. И как только его сильные руки обхватили ее плечи, Таня притихла. Она припала к нему, маленькая, слабая и нежная. Ее пальцы быстро-быстро пощипывали рукав его синего кителя.

Потом они долго молча сидели на скамейке.

— Ты даже про косы не забыла, — сказал наконец Глеб. — Не завязывай их в узел, так тебе больше идет.

— Да?

— Ага... Какие они у тебя хорошие... каштановые.

— Что ты! Просто русые...

— Ну, а какие они, каштановые волосы?

— Какие? Ну, вроде...

— Не надо! Мне очень нравится, как это звучит — каштановые волосы. И пусть у тебя тоже каштановые.

— Чудак! Ты и тогда, как познакомились, сказал: «К вашим каштановым волосам очень пойдет эта лента».

— Влюблен я в это слово.

— А ленту ты мял-мял в руках, да и засунул себе в карман.

Таня рассмеялась, и они снова замолчали. Оба думали об одном и том же. Вот минул год. Такой беспокойный, большой, а пролетел быстро. Чудесный год! А сколь-

ко их впереди, таких же многообещающих, счастливых...

— А куда я ходил сейчас!.. Не угадаешь.

— На Пушкинскую? — Таня спрятала лицо, боясь, что Глеб обратит внимание, как она подозрительно легко догадалась.

— Ага. До четвертого этажа поднимался.

— Понравилось?

— Очень.

Ей хотелось расспросить подробнее, но она ждала, что скажет он сам.

— Список комиссия утвердила, — сказал Глеб. Таня уже слышала от Глеба о списке, но ему снова и снова хотелось говорить о нем.

— Наверное, уже определенно, кто куда поселится. Вот только начальник отделения еще не подписал.

Это было тоже известно Тане, и ее тревожило, что начальник отделения еще не утвердил список. Она осторожно спросила:

— А он ничего изменить не может?

Глеб задумался...

— Кто его знает...

Девушка внимательно поглядела на Глеба. По его лицу Таня умела угадывать малейшие перемены в настроении, и ей стало ясно — произошли какие-то неприятности.

— Он все такой же? Грубит?

Глеб нахмурился. Она прижалась к его руке.

— Что-нибудь случилось?

Он рассказал о сегодняшней встрече с Башлыковым. Рассказывая, Глеб больше и больше ожесточался.

Слушая его, Таня чувствовала, что вот-вот расплчется.

Когда он встал и молча заходил по аллее, она тихо спросила:

— Когда же совещание?

— Завтра... вечером.

— И завтра ты хочешь выступить?

— Зачем откладывать...

— Что ж, если надо... Но ты не горячишься? Возможно, надо осмотреться... подождать... Ну, хотя бы месяц... Мне кажется, так будет лучше.

— Не знаю... Не сдержусь, наверное.

— Но пойми, Глеб...

Таня запнулась, увидев, как он горько усмехнулся. Нет, не надо ничего говорить. Пусть он один все решит.

Как-то само собой получилось, что они пошли по аллее. Глеб рассеянно взял Таню под руку.

— Значит, так будет лучше? — сказал он.

Таня не понимала, спрашивал ли он себя, обращался ли к ней. Как не походил сейчас он, замкнувшийся, удрученный, на того Глеба, которого видела она несколько минут назад, — уверенного в себе, полного горячей решительности и гнева!

«Значит, так будет лучше?» — повторила про себя Таня. Лучше? Начнется собрание,

а Глеб, ее Глеб, трусливо отмолчится? И если потом оскорбления и грубости повторятся, он смолчит, как бы ни раскалялось сердце? Зато он получит ордер на квартиру.

И вот они войдут в эту квартиру. Войдут, потому что кривили душой и терпеливо глотали обиды. Так начнется их семейная жизнь...

— Отойдем в сторону, вон туда... Пожалуйста! — попросила она.

Они остановились за кустами акации.

— Ты чего, Таня?

— Мне нужно сказать тебе, чтобы ты... В общем ты не обращай внимания на то, что я тебе говорила. Совсем не обращай... И прости меня... Ты понимаешь, за что? Ведь понимаешь?..

Она приподнялась на носки и обняла его за шею. По лицу ее потекли слезы, но она не мигая смотрела ему в глаза.

— Понимаешь, да?

— Понимаю... Я все понимаю, Таня...

* * *

Но по мере того как приближалось производственное совещание, решимость Глеба все больше расшатывалась. Два голоса спорили в нем.

«Не слишком ли мелко все, что ты собираешься сказать? — предостерегал один. — Речь идет о начальнике отделения. И каком — Башлыкове! Уж он видывал виды.

Зубр! Вот и в последнее дежурство — не вышло ли действительно ошибки с маневровым? Пошевелил бы получше мозгами — глядишь, уплотнил бы операции и отправил маневровый раньше. Слишком уж положился на дежурного по Вязовке. Или с лесокомбинатовскими вагонами — ну, признайся честно, что проморгал. Твой диспетчерский участок — звони, нажимай, заставляй поворачиваться».

«Но зато Ямскую тебе удалось расчитать, — убеждал другой голос. — Да и вообще дежурство прошло благополучно. А Башлыков разговаривал с тобой, словно с каким-нибудь портачом, из-за которого все движение на участке прекратилось...»

Перед глазами снова вставала фигура начальника отделения — как будто нарочито выпяченный живот, высокомерно поднятая голова, вечно недовольный, колющий взгляд... Негодование закипало с прежней силой. Но и сомнения жили. И снова Глебу начинало казаться, что он не сумеет достаточно уверенно выступить, что у него не хватит аргументов, что лучше подождать, когда подкопится побольше веских фактов...

Диспетчеры собрались в кабинете Лямина. Вытирая платком вспотевшие от волнения руки, Глеб пробрался в угол. Лямин открыл совещание, а начальник отделения отсутствовал. Начался доклад — Башлыков не появлялся.

Глеб плохо слушал докладчика. Отсутствие Башлыкова как будто бы позволяло пока помолчать: уж если разносить кого, так прямо в глаза! А с другой стороны, скоро ли представится случай? Да и не малодушничаешь ли ты, цепляясь за любой повод, чтобы отмолчаться? Ох, нелегкое это, оказывается, дело — критиковать начальство!

Докладчик, старший диспетчер Эктон, любил выступать на собраниях и совещаниях. И нельзя сказать, что он болтал попустому, но на отделении не помнили, чтобы Эктон блеснул смелыми, интересными мыслями. Вот и сейчас он добросовестно, со знанием дела перечислял неувязки и промахи в диспетчерской работе. Но при всей правильности его замечаний устранение этих неувязок и промахов не внесло бы ничего существенно нового в заведенный порядок.

Доклад задал тон совещанию. Прения шли нельзя сказать чтобы вяло, но и не бурно. И речи произносились не то чтобы легковесные, поверхностные, но и не бог весть какие глубокие.

Неожиданно появился Башлыков. Он прошел к столу и, ни на кого не глядя, сел рядом с Ляминам. В это время слово взял диспетчер Кокуев.

Кокуева за малый рост остряки прозвали Полуэктовым, и кличка так пристала к нему, что некоторые молодые работники считали ее фамилией диспетчера. На сове-

щании Кокуев оказался рядом с Эктовым и, даже поднявшись с места, не стал выше своего сидящего соседа. Веселые ухмылки пробежали по лицам собравшихся.

Башлыков никак не реагировал на общее оживление. Озабоченный, хмурый, он сидел неподвижно, наклонив голову, упершись в стол невидящим взглядом.

Начальник отделения задержался в депо. В помещении нарядчика паровозных бригад увидел плакат-«молнию»: машинист Касьянов не только ввел тяжеловесный поезд в график, а еще сумел намного раньше расписания приехать в пункт оборота.

К нарядчику Башлыков завернул, отыскивая начальника депо. Натолкнулся на «молнию» и сразу забыл, зачем пришел. Еще бы — такой рейс! Ясно, что Касьянов не останавливался ни в Чибисе, ни в Вязовке. Значит, ни разу не набирал на участке воду и толку не чистил. Редкостный рейс!

За спиной Башлыкова снова поднялся притихший было с его появлением говор. Недаром же во всех локомотивных депо помещение нарядчика издавна добродушно именуют «брехаловкой». Здесь обсуждаются все деповские новости, рассказываются самые свежие анекдоты и всегда царит дух беззлобной, забористой «подначки». Иной машинист, отправляясь в поездку, нарочно пораньше выйдет из дому, чтобы поторчать в «брехаловке». Да и свободный от

поездки, отдохнув, не утерпит, потопает все туда же, в свой пропахший табаком и гарью «салон». А уж старика пенсионера обедом не корми — только дай ему возможность подышать воздухом «брехаловки».

В «брехаловке» сидели Иван Ильич Козачинский — большой, грузный старик, с бритой шарообразной головой — и человек шесть машинистов. О Козачинском Башлыков слышал — глава династии машинистов. Старик, правда, уже на пенсии, но два сына его и внук водят поезда.

Несколько минут назад молодой машинист Седелин неосторожно заявил, что если бы у него была такая же новая машина, как у Касьянова, то и он бы ездил без набора воды на участке. Старик, вспыхнув, брякнул, что Седелину до Касьянова так же далеко, как примусу до паровоза, что он вообще удивлен, как такого безмозглого свистуна машина терпит. Ивана Ильича сразу же активно поддержали. Поддержали далеко не потому, что все соглашалось с ним. Начиналась та самая утонченная «подначка», в которой крепко поднаторели завсегда и «брехаловки».

Появление Башлыкова никого не смутило, хотя разговор и оборвался. Не такой народ машинисты, чтобы теряться при виде начальника отделения. Просто любопытно стало, что скажет Башлыков. Новый начальник, новый человек на отделении — каков он?

Но Башлыков слишком долго размышлял у «молнии», а «брехаловка» не терпела продолжительных пауз. Старик Козачинский, успевший разгадать плутовские маневры своих собеседников, более миролюбиво повел прерванный разговор.

— Дочка вот у тебя родилась, — сказал он Седелину и поглубже спрятал повеселевшие глаза под седыми клочковатыми бровями. — Ну куда годится, у машиниста — и дочка! Машинист должен свою профессию по наследству передавать, а у тебя — дочка.

И снова старик встретил подозрительно дружную поддержку:

— Ты у Козачинских поучись. У них, как по нотам, одни мальчики рождаются.

— Поделись опытом, Иван Ильич!

Обернувшись к машинистам, Башлыков кивнул на «молнию» и спросил с требовательной прямоотой:

— Что это — дело реальное или просто случайность?

Машинисты выжидательно посмотрели на Козачинского. Старик, подумав, сказал:

— Для кого как. Для Касьянова, может, и реальность, а для других — пустая мечта. А уж если всерьез говорить, и Касьянов вряд ли во второй раз рискнет Вязовку с ходу проехать. Ну, Чибис еще так-сяк. А Вязовку! При наших длинных плечах машину в пути нельзя не поить. Да и уход требуется. Надо же ей, милой, ноздри почистить, под копыта заглянуть.

— Про уголек, Иван Ильич, не забудь, уголек у нас известно какой, — вмешался сосед Козачинского. Он, видимо, должен был вот-вот отправиться в рейс и уже держал в руке саквояж с продуктами на поездку. — Уголек подмосковный, низкосортный. Зола, матушка, одолевает. Как же в пути не чиститься!

— Касьянов сумел же, — не утерпев, вмешался Седелин.

— У Касьянова свои приемы есть, — ответил машинист с саквояжем.

Мнения расходились.

Сейчас, сидя на совещании, Башлыков думал все о том же. Если ликвидировать остановки и в Чибице и в Вязовке, можно оборачивать паровозные бригады за восемь часов в оба конца. Выигрыш-то какой! Бригады будут по-человечески дома отдыхать. А нынче валяются на койках в оборотном депо. В эксплуатации паровозов тоже выгода — начнут веселее по участку крутиться.

С Вязовкой, пожалуй, надо поосторожнее. А в Чибице — долой остановку. Пересмотреть скорость на перегонах, особенно на кривых участках, на подъемах. Поджечь остановку в Вязовке. Вообще весь график перетряхнуть.

Поддержат ли в управлении дороги? Главное — как поведет себя локомотивная служба? Сразу вспомнилось — начальником службы работает Райгородцев. Башлыкова даже в пот бросило. Опять Райгородцев!

Как ни велик мир, снова встретились их дорожки. Ну, позицию Райгородцева нетрудно представить — лоб себе расшибет, но без указаний свыше не даст ход делу.

Что, если взять все на себя? Поставить управление перед свершившимся фактом. Разве не пойдут за Касьяновым другие машинисты? Пойдут. Помочь им. Диспетчеров настроить. Кстати, кто это дежурил, когда Касьянов промахнул без остановки Вязовку и Чибис?..

— ...Пользуясь присутствием начальника отделения, я хотел бы сказать несколько слов в его адрес, — донеслось до Башлыкова с того места, где стоял Кокуев. Башлыков, насупившись еще более, чуть повел глазами в сторону диспетчера.

Отдавая должное энергии, опыту и знаниям начальника отделения, Кокуев упрекнул его за недоверие к аппарату. Слишком часто и без нужды вмешивается он в функции подчиненных. По существу, он просто подменяет их. А что получается в результате? У работников пропадает охота проявлять самостоятельность и почин. Нехорошо? Нехорошо. При всем своем уважении к начальнику отделения диспетчеры просили бы побольше доверять им...

Кокуев называл Башлыкова не иначе, как Василий Степанович, говорить старался поосторожнее, покоректнее.

Слушая его, Глеб в сильнейшем беспокойстве ерзал на стуле.

«Что за критика! Словно пушком усти-

лает — боится, как бы не обидеть, как бы не ушибить. Не критикует — упраскивает: ради бога, не подменяйте диспетчеров! И разве только в том беда, что Башлыков за диспетчерский стол садится? Как можно молчать о его отвратительной манере разговаривать с людьми? Как не сказать о грубости? Вот за что надо Башлыкова пробрать. Да так, чтобы ему неловко стало.

Ты тоже хорош! Отмолчался, струсил! Не из-за квартиры ли? Признайся честно — из-за квартиры? Хотя ты и продолжаешь думать, что выступишь, но душой размяк, отступил. Осторожность взяла верх. Тряпкой ты оказался, обывателем, товарищ Абакумов. Поправляй же ошибку! Вспоминай свою речь! Кажется, она рассыпалась у тебя, как испуганная стая воробьев. Нет, неправда, можно собраться, надо собраться с мыслями!»

Кокуев кончил. На некоторое время воцарилось молчание.

— Кто еще хочет выступить? — произнес Лямин обычную в таких случаях фразу.

Глеб весь подался вперед и уже приоткрыл рот, чтобы заявить о себе, как Лямин обратился к начальнику отделения:

— Возможно, у вас что-нибудь есть, Василий Степанович?

Есть ли у него что сказать? Еще бы! В нем все кипело.

«Нашли о чем шум поднимать! Не нравится, видите ли, что начальник отделения вмешивается в функции диспетчеров. Вме-

шивался и не перестану вмешиваться. Закисли совсем. Ни выдумки, ни поисков! Да и вообще — что проку от вашего совещания? Толчете воду в ступе. Каждый раз одна и та же шарманка.

Все же лучше воздержаться от выступления. Сгоряча еще наговоришь что-нибудь лишнее. Черт с ним, с этим Кокуевым! Тоже мне критик — из-за стула носа не видно!»

Башлыков откашлялся и сказал сипло:
— Нет, я ничего не имею.

Абакумов вытянул в сторону Лямина руку и торопливо сказал:

— Прошу слова... Прошу слова!..

Лямин не успел произнести свое «пожалуйста» — взволнованный, побледневший Глеб быстро поднялся с места.

— Я хочу сказать вам, товарищ Башлыков, — начал он, — по-другому, не как Кокуев. Я хочу прямо сказать, что просто невозможно, просто невыносимо терпеть дальше ваше поведение...

Он был особенно молод в эту минуту — совсем мальчик. И гнев его был полон той чистой, искренней детской силы, которая не могла не задеть человека. И пусть в его стремительной речи сбились вместе серьезные обвинения и наивность, настоящая принципиальность и почти мальчишеская обидчивость, пусть слишком пристрастно, слишком односторонне характеризовал он Башлыкова — люди, внимательно слушая его, волновались вместе с ним.

Говорил Абакумов недолго. Когда он кончил, взгляды диспетчеров скрестились на Башлыкове. Одни выражали откровенное осуждение, другие — плохо спрятанное любопытство, третьи — осторожное выжидание. Начальник отделения сидел, как обычно, наклонив голову, показывая лишь свой покрасневший, поблескивающий от пота лоб. Никто не представлял, как отнесся он к происшедшему, но в крутом, упрямом наклоне головы чувствовалась его ни на секунду не сникшая, крепкая собранность.

Пауза затянулась. Наконец Лямин медленно поднялся и нерешительно спросил:

— Будем закругляться, товарищи?

Возражений не последовало. Лямин поправил очки, пробежал глазами записи, сделанные по ходу совещания, и, громко, внушительно вздохнув, приступил к заключительной речи.

Выступал Лямин мастерски. Сначала в словах его слышалась сдержанная взволнованность. Постепенно накал повышался. Наконец, оратор давал себе волю, речь его достигала высших точек кипения. Казалось, что в каждом восклицании, в каждом вздохе являлись миру открытия, которые оратор выстрадал сам и за которые снова и снова готов ринуться в бой.

И только тот, кто не подчинялся обаянию ляминского ораторского искусства, смог разглядеть за внешней эффектностью речи совершеннейшую заурядность мысли. Тот же доклад Эктова с его обыден-

ностью, текучкой, только в сокращенном варианте.

После своего выступления Абакумов долго не мог успокоиться. И если бы начальник отделения решил ответить ему и при этом снова позволил себе какую-нибудь несправедливость, Глеб, конечно, не сдержался бы и вступил в перепалку. Пожалуй, он даже хотел продолжения схватки, чтобы уже сейчас же, вот здесь, на совещании, стало ясно, кто победил. Но Башлыков не пожелал говорить, — это обескураживало и вместе с тем охлаждало. Кто знает, что означало молчание начальника отделения, но все же одно казалось несомненным — удар не прошел мимо цели. Что последует дальше — время покажет. Скорее всего впереди новые, еще более яростные схватки. О квартире теперь и мечтать нечего. Да что квартира! Башлыков, конечно, не дурак, за критику с работы не снимет, но жизнь устроит такую, что взвоешь да сам уйдешь. Туго придется, ох как туго! Ну и пусть!

В эту минуту даже захотелось, чтобы начальник отделения отомстил ему. Тогда Глеб докажет всем, каким он умеет быть стойким. С этими мыслями Глеб выпрямился и огляделся по сторонам. Соседи слушали Лямина, но движение Абакумова привлекло их внимание, словно они ожидали его. Они обернулись к Глебу, и он прочитал на их лицах столько одобрения, симпатии и поддержки, что наметившаяся

было поза одинокого героя сразу утратила всякий смысл.

Соседи снова обернулись к оратору, и вместе со всеми Абакумов стал слушать Лямина. Как всегда, ему очень импонировала взволнованность ляминской речи. Правда, Лямин не высказал своего отношения к выступлению Глеба. В конце концов, это даже разумно. Лямин, по твердому убеждению Глеба, мог держать только его сторону. Но он же — заместитель Башлыкова. А заместителя, поощряющего тех, кто критикует его начальника, недолго обвинить в подсиживании.

Вспомнилось, как в последнее дежурство Лямин спросил о свадьбе, как отечески потрепал по волосам широкой, мягкой рукой. Нет, такой не даст в обиду. И насчет квартиры поддержит, поможет.

* * *

В просторном, тщательно прибранном кабинете прохладно и тихо. Башлыков вызвал дежурного по отделению и велел принести листы графика исполненного движения с того участка, на котором работал Абакумов. Теперь Василий Степанович отчетливо вспомнил, что именно Абакумов дежурил в часы, когда Касьянов совершил свой примечательный рейс.

В другое время начальнику отделения ничего не стоило бы вспомнить во всех подробностях обстановку, сложившуюся

тогда на участке. Сейчас было трудно сосредоточиться. Чем хуже это Башлыкову удавалось, тем упрямее он понуждал себя думать только о рейсе Касьянова, тем сильнее клял себя за неспособность отбросить прочь тяжелые, озлобляющие мысли, вызванные выступлением Абакумова.

И еще он испытывал смутное, неотвязное ощущение тревоги, будто близко, совсем рядом, ходила какая-то беда. Стремясь отделаться от этого ощущения, Василий Степанович возмутился. Какая чепуха! Что может с ним случиться? Не просят же, в самом деле, серьезными осложнениями наскоки этого молодого петушка Абакумова?

Дежурный по отделению принес листы графика. Отпустив дежурного, Башлыков попробовал углубиться в их изучение. Но мысли упорно возвращались к тем обжигающим словам, которые услышал он сегодня. И от кого услышал? От того самого диспетчера, который фактически организовал новаторский рейс Касьянова.

И это тошнотное состояние тревоги... От него не избавишься, как ни прекройся листами графика.

Нестерпимо захотелось вдруг закурить. Черт знает, что такое! Еще прошлой весной бросил это занятие — и на вот тебе, снова потянуло. Да как! Хоть в коридор выбегай стрелкнуть папироску у первого встречного...

Башлыков залпом выпил стакан воды, прошелся по кабинету. Успокоился немного, понял, что не уйти ему от прямого разговора с самим собой. Глупо делать вид, что на совещании не произошло ничего серьезного. Произошло, и это тем более должно встревожить, что однажды он уже был крепко бит за свои заскоки. Наградил же господь характером!

Еще не известно, как обернулось бы тогда дело, если бы не Будаев. В управлении дороги так и сказали: «Будаева благодарим...»

Башлыков работал тогда заместителем начальника отделения — не здесь, а на другом конце дороги. В голове молодого командира кипели дерзкие планы — перевернуть всю эксплуатационную работу, показать себя так, чтобы на дороге сразу почувствовали, каков он, Василий Башлыков. Он вообще полагал, что будет стремительно продвигаться по служебной лестнице. В мыслях он уже видел себя по меньшей мере начальником дороги.

Башлыков принялся ломать технологический процесс на решающей станции отделения. Но перестройка, хорошо расчерченная в схемах и графиках, на деле провалилась. Люди не приняли ее душой, и официальные приказания Башлыкова потонули, как следы в сыпучем песке. Не попытавшись как следует проанализировать причины этого провала, он брался за новые идеи, непреклонный в своем стремле-

нии отличиться. И хотя в планах его крылось много полезного, смелого, успехи оказывались слишком ничтожны в сравнении с энергией, которую он затрачивал. Неудачи все более ожесточали его, а ожесточение делало все более слепым. Он полагал, что ему просто не везет, что его окружают завистники и тупицы, что на каком-нибудь другом отделении он, конечно, ходил бы в героях.

В довершение всего между ним и Райгородцевым, тогдашним начальником отделения, неотвратимо назревало столкновение.

Началось, когда Башлыков поделился с ним своими замыслами насчет изменения порядков на станции. Совершенно не вдумываясь в существо дела, Райгородцев велел составить докладную и послать в управление дороги.

Это была чистейшей воды перестраховка. Райгородцев считал нужным действовать лишь в том случае, когда предложение поступило сверху. Не важно, в каком виде, — письменный приказ, телефонный звонок или газетная статья. Лишь бы сверху.

О, Райгородцев занимал весьма прочные позиции! Никто не дерзнул бы обвинить его в консерватизме и косности. Нет, он одним из первых откликался на статьи центральной печати, в которых пропагандировались передовые методы. И хотя не бог весть как горячо и последовательно внедрял он их в производство, хотя часто

создавалась лишь видимость их применения, но кое-кто из командиров на дороге не делал даже этого, и за Райгородцевым закрепилась непорочная слава твердого сторонника нового, прогрессивного.

Во время первого разговора с начальником отделения о перестройке технологии станции Василий Степанович еще не представлял, с кем он имеет дело. И покорило его не требование Райгородцева непременно добиться санкции управления.

Поразило другое — начальник отделения не зажегся его идеей. Не зажегся не потому, что не одобрял ее. Он просто не был способен разделить башлыковскую увлеченность, башлыковскую страсть. Творческая мысль не могла вызвать в нем ответного горения, как не сможет металл высечь искру из куска глины.

Раскусив своего начальника, Башлыков легко уверовал, что он призван заменить его. И чем больше хотелось ему возглавить отделение, тем сильнее становилась его убежденность в никчемности Райгородцева. Он видел только его пороки и только свои достоинства. И не одно честолюбие говорило в нем. Он считал, что от замены Райгородцева прежде всего выиграет дело, то дело, которое он, Башлыков, любил преданной и ревливой любовью.

Василий Степанович ринулся в открытую атаку. Его схватки с Райгородцевым на совещаниях или во время частных встреч становились все более яростными.

Дальше — хуже: начальник и его заместитель вообще перестали разговаривать.

Ссора начала отражаться на работе отделения. Коммунисты забили тревогу и созвали партийное собрание. Василий Степанович оказался на нем в совершенном одиночестве. Ему объявили строгий выговор за грубость, зазнайство и дезорганизацию производства. Собрание обратилось к начальнику дороги с просьбой снять Башлыкова.

Лишь несколько дней спустя он смог заставить себя проанализировать случившееся. Не сдаваясь, Василий Степанович продолжал считать, что его не поняли, не оценили на отделении. Но он нашел в себе силы признать, что был груб и заносчив, не сумел расположить к себе людей, зато все время наживал скрытых и открытых недругов. И чем чаще встречал проявления недоброжелательности, тем несдержаннее, несноснее вел себя. Надо помягче, пообходительнее обращаться с людьми, и тогда добудешь любую победу.

Ему казалось, что в этом признании и заключена вся полнота выводов, которые нужно сделать из собрания.

В то время ушел на хозяйственную работу первый секретарь горкома партии, давний друг Райгородцева. Его место занял Будаев. Накануне заседания бюро горкома, на котором должно было утверждаться решение парторганизации отделения, он вызвал к себе Башлыкова.

В кабинете первого секретаря Башлыков застал несколько человек. Увлеченные каким-то спором, они говорили почти все сразу и отчаянно курили. Это шумное оживление находилось в удивительном несоответствии со строгой, чинной тишиной других комнат и коридоров горкома.

Будаева Василий Степанович видел впервые. В отличие от остальных, он помалкивал, поджав губы, отчего широкое, скуластое лицо его казалось явдратным. Над небольшим, чуть вздернутым носом веселые, хитроватые глаза. Внимательно поглядывая на спорящих, он машинально крутил цепочку из канцелярских скрепок. Около него монтер чинил настольный вентилятор, и Будаев время от времени косился на полуразобранный механизм. Видимо, у рабочего что-то не ладилось. Будаев не стерпел.

— А если так? — обратился он к монтеру. — Нет, нет, переверните! Хорошо. Теперь держите!

Он взял отвертку и начал ловко орудовать ею. «Механик, первоклассный механик», — определил Башлыков. От этого открытия стало почему-то немножко легче на душе, и захотелось поскорее остаться один на один с Будаевым, чтобы просто так, без расчета на какую-нибудь защиту, поделиться своими горестями.

Секретарь горкома оторвался от вентилятора, положил отвертку и с удовольствием обтер ладонью ладонь.

— А ну, попробуйте! — бросил он монтеру.

Тот протянул шнур к штепселю. Послышалось ровно нарастающее гудение вентилятора.

— Ажур! — довольный своей удачей, Будаев подмигнул рабочему. Потом обратился к остальным: — Ну, шабаш, друзья, меня вот товарищ Башлыков дожидается. Завтра у нас бюро, давайте приходите — продолжим разговор.

Трудно сказать, сколько просидел Василий Степанович у секретаря горкома. Несколько раз Будаеву докладывали о других посетителях, но он никого не принимал.

Башлыков рассказал о всех своих неудавшихся планах технологической перестройки. Будаев задал множество вопросов, оставил себе все схемы, которые Василий Степанович набросал по ходу беседы. Но на прощание сказал:

— А вели вы себя не по-партийному, и всыпали вам правильно.

Он произнес это не очень строго, даже как-то по-свойски, и у Башлыкова мелькнула мысль, что Будаев примет его сторону.

На заседании бюро горкома он увидел Будаева другим.

Снова сидел Башлыков в том же просторном, ярко освещенном кабинете, только за другим столом, длинным, покрытым зеленой скатертью, специально предназна-

ченным для заседаний. Снова Башлыков видел перед собой широкое, скуластое лицо секретаря горкома, но сейчас между ними по обе стороны стола расположились члены бюро. И хотя их насчитывалось всего восемь-девять человек, почему-то казалось, что за столом сидит людей гораздо больше. На их лицах, как и на лице Будаева, Василий Степанович не прочел ничего, кроме сурового осуждения.

Все же, когда после немногословных, видимо заранее продуманных, строгих выступлений членов бюро слово взял Будаев, в душе Василия Степановича шевельнулась слабенькая, жалкая надежда, что бюро горкома смягчит решение собрания.

Но этого не произошло. Будаев сказал, что личное преуспевание для Башлыкова дороже всего на свете, что честолюбие, амбиция взяли в нем верх над партийностью.

— А ваша грубость, — говорил Будаев, направив на Башлыкова вздрагивающую руку с вытянутым вперед указательным пальцем, — это не просто невоспитанность. Вы разучились уважать людей. Вы смотрите на своих подчиненных только как на исполнителей вашей воли. Вы забыли, что в русском языке есть такие слова, как товарищ по труду, соратник, единомышленник...

Будаев предложил утвердить строгий выговор, объявленный Башлыкову партийной организацией.

Через несколько дней Василия Степановича вызвали в управление дороги. Он ожидал, что ему скажут о новом назначении — разумеется, с большим понижением. Случилось по-иному: ему предложили поехать учиться на долгосрочные курсы, добывать диплом инженера. В управлении не скрыли, что эту мысль подал Будаев.

Примерно через год Башлыков узнал, что Райгородцев назначен начальником локомотивной службы дороги. Нельзя сказать, чтобы это было повышение. Но, по слухам, он сам не захотел оставаться на отделении, и Башлыков понял, что его бывший начальник просто поспешил убраться подальше от Будаева.

* * *

Нашагавшись до ломоты в коленях по своему кабинету, Башлыков присел на подоконник.

Много ли времени прошло — каких-нибудь пять-шесть лет, — но зажили ушибы, и снова ты начал зарываться, Василий Степанович Башлыков. Сегодняшнее созвращение — первый предостерегающий звонок. Не прислушаешься, не спохватишься — опять не миновать беды.

А-ведь ты ли не отдаешься делу, ты ли не любишь его преданно, ревниво, на всю широту своей беспокойной и трудной натуры!

В дверях появился Лямин. Огляделся и спросил:

— Чего в темноте сидишь? .

Он зажег свет — выключатель у самых дверей — и направился к начальнику отделения, как всегда высоко подняв большую седеющую голову, неторопливой, ровной походкой человека, спокойного за себя и уверенного в себе. Глаза из-под круглых, с тонким ободком очков смотрят доброжелательно, открыто, прямо. Из рта торчит неизменная трубка, и ее тихое, размеренное посапывание подчеркивает душевное равновесие хозяина.

— Вот, Василий Степанович, решение совещания. Посмотри, тут есть ценные предложения.

Башлыков взял у него листы, пробурчал:

— Уж и ценные...

Он понес их к столу и, засунув в папку, добавил более мягко:

— Хорошо, обязательно прочитаю.

Помолчали. Лямин начал набивать трубку. Василий Степанович опустил в свое кресло и попросил:

— Дай-ка и я задымлю. Есть бумажка?

— А как же!

Лямин подал табачницу. На оборотной стороне крышки, за тоненькой пластинкой-зажимом, белела квадратиком папиросная бумага.

— Специально для стреляющих, — улыбнулся Лямин.

Он взялся за один из листов графика, лежавших перед начальником:

— Разреши?

Башлыков кивнул. Лямин углубился в график. Снова воцарилось молчание. Оно начинало раздражать Башлыкова. Не мог же, в самом деле, Лямин не понимать, что после такого совещания нужно сказать что-то — отругать или поддержать, дать совет или предостеречь! Обязан же он, черт возьми, как-то выразить свою позицию!

Но Лямин продолжал невозмутимо потягивать трубку.

«Деликатничает? Щадит самолюбие раскритикованного начальника? А может быть, выжидает? Или, чего доброго, носит камень за пазухой?»

И вдруг осенило:

«Господи, да ему просто-напросто на все наплевать! Он пересидел на отделении уже трех начальников, пересидит и тебя, вот так же безмятежно посасывая свою негаснущую трубку».

Башлыков покосился на лист графика, в который уставился Лямин. Тот самый лист. Вон она, крутая линия в первой половине дежурства. Другие и в Чибисе и в Вязовке делают ступеньку, а эта без малейшего перелома устремляется дальше.

А Лямин? Неужели он не видит, как много обещает эта синяя карандашная стрела? Неужели она мертва для него?

Захотелось снова остаться одному. Василий Степанович взял пухлую папку с до-

кументами на подпись и сказал по возможности спокойнее:

— Иди отдыхай! Я еще посижу, посмотреть кое-что надо.

Лямин посочувствовал:

— Да, подкопилось у тебя.

— Не говори! Валом валит.

Башлыков открыл папку. Наверху лежал список заселения дома на Пушкинской.

— На минуточку! — вернул Василий Степанович заместителя. — Список вот на новый дом. Давай вместе глянем. Ты же людей хорошо знаешь.

— Как свои пять пальцев. Только чего смотреть? Обсуждали уже.

— Ничего. Семь раз отмерь — раз отрежь.

Начальник отделения взял толстый красный карандаш, навалился на стол и начал читать. Называя фамилию, он ставил против нее чуть заметную точку и делал небольшую паузу.

— «...Абакумов», — прочел Башлыков. Карандаш опустился вниз, но, не коснувшись бумаги, повис в воздухе.

Лямин вынул табачницу и принялся усиленно набивать трубку, хотя табаку в ней было достаточно.

— «...Абакумов Г. Д.», — повторил Башлыков. — Как его, Григорий, что ли?

— Нет, Глеб, Глеб Денисович.

— Значит, Глеб Денисович... Так-так... — Начальник отделения положил

карандаш, провел ладонью по лицу, словно хотел стереть что-то. — Глеб Денисович... Он что, холостой?

— Холостой.

— Ну вот, надо же прежде всего о семейных думать.

— Да, это верно... Между прочим, дома строят у нас на отделении преступно медленно. Я все собираюсь статейку в газету написать, такую, знаешь, зубодробительную. Разнести этот шараш-монтаж-строй...

Башлыков перебил:

— А ты хорошо знаешь, что Абакумов не женат?

— Ну, Василий Степанович, ты меня обижаешь! Уж про свои-то кадры — среди ночи разбуди — все скажу. Девушка у него, это верно, есть. Свадьба вот-вот состоится.

— Наша девушка-то, железнодорожница?

— Нет, с ЗИПа. Ты как-нибудь обязательно на ЗИП съезди. Ох, и заводик — игрушка! Работницы — как медицинские сестры: халатики, косыночки...

— Как все-таки насчет Абакумова? — снова оборвал Башлыков. — Дадим ему комнату?

— Так ты, по-моему, уже решил.

— Что решил?

— Воздержаться.

— А ты сам что предлагаешь?

— До чего ты мужик въедливый! — рассмехался Лямин. — Ведь я за этот список

уже дважды голосовал. Что ты еще от меня хочешь?

Лицо Башлыкова начала заливать краска. Как всегда в минуту большого раздражения, он терял остроту сообразительности и вместо дельных, нужных слов на язык настойчиво просилось что-то безрассудное, бранное, грубое.

Надо промолчать, во что бы то ни стало промолчать, пока не утихнет раздражение и не восстановится ясность мысли.

Он взял свою недокурную закрутку и, глубоко затянувшись, стал гасить ее с такой силой, словно хотел вдавить в мрамор пепельницы. Табак и пепел рассыпались по белоснежной чаше. Наконец начальник сказал тихо:

— А мастер же ты, брат, выкручиваться!

— То есть как это? — изобразил удивление Лямин.

Башлыков старательно сдул в корзину содержимое пепельницы.

— Ладно, иди. Я уж сам разберусь тут.

— Да нет, Василий Степанович, пожалуйста... Ты меня не понял...

— Понял, очень хорошо понял.

Башлыков уже полностью овладел собой. Он бережно поставил пепельницу рядом с чернильным прибором, строго на прежнее место.

— Ну, будь здоров! — сказал как ни в чем не бывало Лямин и направился к двери.

Его упитанная фигура по-прежнему дышала спокойствием и уверенностью. И, провожая заместителя недобрым взглядом, Василий Степанович подумал: «Трудненько же нам будет вместе!»

Оставшись один, он почувствовал, что страшно устал. Пожалуй, настолько, что не сможет еще чем-нибудь заняться. Все же, следуя давней привычке, Башлыков раскрыл настольный блокнот, чтобы записать наиболее важные дела на завтра.

Прежде всего — совещание машинистов. Лучше вечером, чтобы всех успели известить. Пригласить свободных диспетчеров. А Касьянова попросить, чтобы еще утром зашел. Ну, и Абакумова вместе с ним вызывать.

Абакумов, конечно, решит, что его требуют на расправу. Приготовится к драке. Не чета Лямину мальчик...

Начальник отделения перевел глаза на список жильцов нового дома. Красные точки обрывались на середине. Поборов усталость, он дочитал список и поставил свою подпись.



ПЕПЕЛЬНИЦА

Инженер железнодорожной станции Серафима Викторовна Жарова, уйдя пораньше со службы и обежав единым духом стол заказов «Гастронома», маникюршу и парикмахера, заканчивала с помощью домработницы приготовления к приему гостей. Сейчас она стояла перед большим — через всю комнату — накрытым столом и любовалась его убранством.

— Как же мы будем рассаживать гостей?

Она обращалась к мужу, Петру Петровичу. Ему исполнилось сегодня сорок лет. Жаров перебирал в соседней комнате бумаги, которые выгреб из нижнего ящика письменного стола.

Между ними произошла небольшая размолвка, нисколько, впрочем, не испортившая настроения Серафиме Викторовне. Жарову неожиданно захотелось пригласить на вечер инженера Сакулина, с кото-

рым он дружил в юности, но в последнее время совсем не встречался. Серафима Викторовна воспротивилась. Она считала Сакулина скучным, недалеким человеком и была рада, что муж завел другие, более интересные знакомства. К тому же она видела, что между ней и Сакулиной, женщиной пожилой, весовщицей той самой станции, на которой и работала сейчас сама Серафима Викторовна, слишком мало общего.

Обойдя вокруг стола, Жарова снова покосилась в сторону соседней комнаты. Муж держал в руке какой-то небольшой лист, скорее всего фотографию. Он не ответил жене, вероятно, потому, что не расслышал ее, но все-таки Серафима Викторовна опасливо подумала, что Петр Петрович может, чего доброго, расстроиться, надуться и тогда вечер, который она тщательно готовила и от которого ждала много приятного для себя, окажется испорченным.

Серафима Викторовна любила принимать гостей. Ей нравилось шумное застольное веселье, звон бокалов, озорное остроумие мужчин, балансирующее на самой грани дозволенного, и собственная беззаботная, хмельная возбужденность. Она знала, что половина ее знакомых немножко увлечены ею, и всегда на вечерах их легкие, милые вольности и ухаживания, полусерьезные, полудерзкие выражения влюбленности на лицах подразнивали нервы и еще более поднимали настроение.

— Ну, Петя, хватит тебе там копать-ся! — снова обратилась она к мужу.

Петр Петрович отметил про себя ее примирительный тон, но от своего занятия не отрывался.

— Как же ты его пригласишь? — продолжала Серафима Викторовна. — Телефона-то у Сакулиных нет.

— Костя еще на заводе, — пробурчал Жаров. — Он там до семи-восьми часов пропадает.

— Так звони, пока не поздно.

— Но ты же против?

— Оставь, милый! Сегодня твой день.

Петр Петрович начал собирать в папку разложенные на столе бумаги.

Заметив, что смеркается, Жарова зажгла люстру и повторила свой вопрос:

— Как же мы рассадим гостей?

Она давно все решила сама, но ей хотелось втянуть мужа в разговор, чтобы окончательно выяснить его настроение.

— Было бы за что сесть да что съесть, — сказал Петр Петрович, появляясь в дверях. Окинув взглядом жену, добавил восхищенно: — О-о, какая ты у меня сегодня!

Они лишь год как сыграли свадьбу, и Петр Петрович и сейчас еще временами чувствовал себя молодоженом.

Поцеловав мужа, она высвободилась из его объятий и поправила на груди белую нейлоновую кофточку.

— Что это у тебя? — Жарова кивнула

на фотографию, которую муж держал в руке.

— Да вот, просматривал разную старину и наткнулся.

С фотокарточки тарашили глаза два похожих друг на друга парня. Напряженная, как на параде, поза, бравая стрижка под бокс, одинаковые майки со шнуровкой на груди и засученными выше локтей рукавами.

— Узнаешь орлов? — спросил Петр Петрович.

— Ты и Сакулин?

— Мы. Двадцать три года назад. Передовые слесари-ремонтники паровозоремонтного завода Петр Жаров и Константин Сакулин.

— Смешные какие!

— Но-но, полегче с рабочей гвардией, барышня!

Жаров спрятал снимок во внутренний карман пиджака и в прекрасном расположении духа направился в прихожую, к телефону.

* * *

В это время Мария Ильинична Сакулина шла с работы домой своей обычной, великое множество раз повторенной дорогой. Шла она быстро, наклонив голову, слегка сутулясь, как все люди, привыкшие углубляться в раздумья во время ходьбы. Торопиться ей, собственно, было некуда, но,

занятая своими мыслями, она и не замечала, что спешит.

День выдался тяжелый, беспокойный. С утра валил снег попеременно с дождем и дул злой, порывистый ветер. Мария Ильинична работала на площадке мелких грузов, или, как говорят железнодорожники, мелких отправок. Крытую, но не защищенную с боков платформу захлестывало. Накладные, едва их вынешь, начинали мокнуть. Снежная жижица, что скапливалась по краям платформы, мешала автокарам. Грузчики и шоферы автокаров мерзли, мокли, злились и, не скупясь на крепкие слова, из-за пустяков схватывались с весовщиками.

Ко второй половине дня небо расчистилось, но ветер продолжал гулять по платформе, обдавая холодом и сыростью.

Впрочем, погода особых бед не принесла. Просто трудно пришлось. Так не привыкать же — служба, день на день не похож.

Усталости Мария Ильинична не чувствовала. Вернее, не думала о ней. Тот внутренний жар, тот напор, который не ослабевал в ней в течение дня, продолжал и сейчас владеть ею.

Сегодня в конце смены на подъездных путях фаянсового завода намечалась пробная погрузка ванн новым способом, но инженер станции Жарова куда-то пропала еще с середины дня, и опыт пришлось отложить. Мысли об этой погрузке и зани-

мали Сакулину. Воображение рисовало ей открытый вагон и весь процесс погрузки ванн: не по-старому — в громоздкой и дорогой деревянной таре, ящик на ящик, а компактнее, проще — в специальной бумажной упаковке, ванна на ванну. Теперь, когда Мария Ильинична сумела доказать работникам завода, сколько они сэкономят железнодорожных вагонов и сколько сэкономят денег на дорогостоящей таре, ее главным образом заботила сохранность груза. Как лучше устанавливать пачки ванн — поперек или вдоль вагона? В какие места полезнее положить прокладки? Какое еще потребуется крепление?.. Правда, она уже избрала один, наиболее совершенный, по ее мнению, вариант и изобразила его в чертежах, которые сейчас находились у Жаровой. Но, выверяя, испытывая правильность своего решения, Мария Ильинична продолжала прикидывать новые и новые комбинации.

Она была очень тепло одета — шаль, полушубок, валенки с калошами. Под полушубком шерстяная кофточка. Платье тоже теплое, фланелевое. Одежда сильно полнила ее, а привычка размышлять на ходу и держать голову наклоненной делала ниже ростом. Не по-женски энергично размахивая руками, она быстро, незаметно для себя проходила один за другим короткие кварталы окраинной, пристанционной части города.

Примерно на полпути ей показалось, что

она недостаточно хорошо учла размещение несъемного оборудования в вагоне. Как это случается с практическими и нетерпеливыми людьми, ей очень хотелось тотчас же проверить себя, и она едва не повернула назад, на станцию. Не вернулась потому, что знала привычку мужа: подождет-подождет, да и поужинает всухомятку.

Она пожалела, что под руками у нее сейчас нет даже чертежей — вечером еще посидела бы над ними. И, упрекнув себя за то, что поторопилась отдать их Серафиме Викторовне, вспомнила об одном неприятном обстоятельстве, тоже связанном с Жаровой.

Днем Марии Ильиничне сообщили, что инженер станции получила результаты лабораторного анализа, в общем-то утешительные, — ванны должны хорошо выдерживать транспортировку в новых условиях. И все же то, что она сама не сумела увидеть результатов лабораторного испытания, и то, что Жарова даже не позвонила ей о них, огорчало ее не меньше, чем отсрочка погрузки.

Мысли ее целиком переключились на Серафиму Викторовну:

«Что за человек? На станции недавно Когда работала в отделении, ничего не было слышно про нее — ни хорошего, ни плохого. Правда, молодая еще, тридцати, наверное, нет.

По своей ли воле пришла на производство?.. Хотя, по слухам, отделение все

равно ликвидируется. Это, конечно, Петр ее надоумил использовать удобный момент. А возможно, и сама сообразила.

Поживем — увидим. Пока не очень себя проявляет. Вот и с ваннами — похоже, не зажглась идеей. Против, что ли? Потолковать бы по душам. Заодно и познакомиться как следует. Все-таки не посторонний человек, а жена Петра.

Взять и зайти к ним. Кстати, и заключение лаборатории прочесть.

Костю вытащить. Мужики обрадуются — с каких пор не виделись! При Ольге, покойнице, даже отпуск вместе проводили. Ольга-то уж очень Костю любила. Дороже для нее гостя не было.

Конечно, надо зайти. Сегодня же и собраться».

С этим решением Мария Ильинична открыла калитку своего дома. В окнах горел свет, но на двери висел замок. Сакулина пошарила под крыльцом и нащупала ключ в условленном месте.

Дома на обеденном столе, рядом с потертой, огромного размера перчаткой, лежал листок тетрадной бумаги, на котором крупным почерком мужа было написано: «Звонил Жаров, пригласил на сегодня. У него день рождения. Готовься. Я пошел купить подарок».

Чудеса! Стоило надумать зайти к ним, как пожалуйста — сами приглашают!

Радостно изумленная Мария Ильинична уже глянула на подоконник, где стоял

утюг, — надо же кое-что быстренько погладить, — как тотчас же вспомнила, что именно сегодня Жарова исчезла с середины дня и что именно сегодня сорвалась опытная погрузка. Радость мгновенно уступила место возмущению. Так вот почему Жарова не явилась на погрузку! Салатики готовила, рюмочки протирала!

Быстро раздевшись и беспорядочно побросав вещи на стул, Мария Ильинична решительно направилась на кухню, чтобы готовить ужин. Вечер будет проведен дома. Никаких Жаровых!

Она дала шлепка дремавшему на печной плитке коту, сгоряча одним ударом переломила о колено целый пучок лучины и загремела дверками и ящиками шкафов в поисках спичек. Не нашла. Выругав мысленно мужа за то, что он вечно уносит спички с кухни, вернулась в комнату. Взгляд ее снова упал на записку и забытую мужем перчатку.

«Костя-то на седьмом небе от радости. Денег, конечно, занял. Носится по магазинам, выбирает. Наверное, не один чек уже выписал да выбросил».

Она живо представила себе, как муж, подбежав к прилавку, долго топчется около него, пока наконец решится спросить что-нибудь. В магазинах, особенно в тех, где продаются разные дорогие вещицы, он всегда очень стеснялся, и его заикание давало о себе знать сильнее обычного. Продавцы не сразу отвечали ему, а если и вступали

С ним в разговор, то обращались к нему с небрежной снисходительностью. Его не-смелый, смущенный вид располагал к этому. А Костя, обескураженный таким обращением, терялся еще больше, и часто случалось, что он просил выписать чек на вещь, которая ему совсем не нравилась.

Костя и Петр — как не похожи друг на друга эти два человека, рядом начавшие жизнь и столь одинаково и неодинаково прошедшие свои сорок лет! Одна школа-семилетка, одно ФЗУ, один завод, один рабфак. И даже институт один. Только Костя окончил его заочно. Самолюбивый, удачливый, смелый в решениях Жаров стремительно продвигается в должностях, пишет книги, защитил диссертацию, а Костя как получил пятнадцать лет назад пропуск на паровозоремонтный, так и меряет туда каждый день дорогу, в сапогах, в спецовке, со стороны даже не поймешь — начальник цеха или рядовой рабочий. Слово прирос к своему заводу и даже дом себе построил в трехстах метрах от него.

Интересно все-таки, что он купит? В прошлом году целое воскресенье потратил, пока остановился на бронзовой пепельнице с фигуркой собачки. Купил и расстроился — уж очень скромненький получился подарок. Пришлось посоветовать ему, чтобы сам смастерил что-нибудь и пристроил к пепельнице. Ухватился за совет, три вечера убил, и оказался на собачке

блестящий ошейник, а возле — два ружья и сетка с дичью.

«Ладно уж, придется, пожалуй, пойти, — решила Сакулина. — Ради мужиков. И Серафиму надо понять — событие все-таки, день рождения мужа. Любит, коли захлопоталась».

...Когда Константин Николаевич Сакулин вернулся домой, в комнате слегка пахло паленым, а на стуле висели отутюженная сорочка и галстук. Жена возилась на кухне.

Сакулин осторожно поставил на стол завернутый в бумагу подарок и начал переодеваться. При этом он нет-нет да поглядывал на сверток. Собственно, он давно бы распаковал его, если бы не сомневался, что сумеет завернуть так же аккуратно, как это сделали в магазине. Все-таки желание еще раз поглядеть на покупку взяло верх. Войдя в комнату с дымящейся сковородкой, Мария Ильинична увидела, что муж ее в носках, в выпущенной поверх брюк рубаше крутит перед светом украшенный резьбой, играющий синеватым блеском графинчик.

— Х-хорош, а? — спросил он.

Не ожидая ответа, поставил графинчик и взял одну из рюмок. Пропитанные машинным маслом, буграстые, потрескавшиеся пальцы бережно и крепко сжали тонкую шейку. В огромной, тяжелой руке Сакулина маленькая стеклянная вещьца выглядела особенно красивой и хрупкой.

— К-как думаешь, понравится, а? — снова спросил Константин Николаевич.

— Еще бы! — ответила она, окончательно развеивая его сомнения.

Поставив сковородку на стол, добавила с добродушной усмешкой:

— Хватит на пустую посуду глядеть! Садись подкрепляйся.

* * *

Сакулины пришли, когда у Жаровых уже что называется стоял дым коромыслом. Навстречу гостям в прихожую влетел Петр Петрович, радостно возбужденный, разгоряченный, попахивающий коньяком.

— Братцы вы мои! — шумел он. — Какая нечистая сила вас задержала? Вся душа изболелась. Ей-ей, хотел сам за вами ехать... Ну, старик, поцелуемся, что ли!

Мужчины обнялись. Мария Ильинична улыбаясь сняла шляпку и расстегнула светло-серое, свободного покроя пальто. В ней ничего не осталось от той коротенькой толстушки, какой она выглядела на работе. Даже лицо ее неузнаваемо переменилось. Сейчас, когда с него сошло выражение строгой сосредоточенности, стало видно, что у нее живые, с задорной искринкой глаза, а четкая, чистая линия ее высокого выпуклого лба вычерчена энергично и вместе с тем изящно.

Жаров еще раз потрянул друга за плечи.

— Чертов дышловик, ты что, еще вырос, что ли? Машенька, тебе не страшно жить рядом с этакой горой?

— А у горы-то тише, — откликнулась Сакулина, — ветры не дуют.

Константин Николаевич ухмылялся и тер нос.

— Ты, П-петр, вроде еще п-пополнел, — произнес он.

— Сижу, Костя, сижу — все над бумагами. Вот и раздуваюсь, словно квашня. Эх, вырваться бы на охоту! А то, как бывало, на лодочку — с удочкой, с переметиком. Помнишь, старик? .. А ну, погоди, погоди, что я тебе сейчас покажу!

Порывшись в карманах, Жаров достал фотографию и пожелтевший от времени листок бумаги.

— Слушайте, братцы мои!

Он развернул листок и, комкая от волнения слова, декламировал:

Убежище наше —
Костер да шалашик,
Нехитрый рыбацкий уют.
Похлебку ты варишь,
Мой старый товарищ,
Я звонкую песню пою.

— Помнишь или нет, дышловик окаянный? — Жаров смахнул слезу. — Машенька, ведь это же мы с ним сочинили! Услышали песню, чудесную такую, про тайгу, про любовь. Мелодию запомнили, а слова — нет. Дай, думаем, сами сочиним. И сочинили, на рыбалке сочинили. Помнишь, старик?!

Петр Петрович спрятал листок и, довольно точно выводя мотив песни из ста-

рого фильма «Тайга золотая», пропел новый куплет.

Все, счастливые и растроганные, тронулись было из прихожей, но Сакулин вспомнил о подарке. Остановившись, он произнес обычную в таких случаях короткую речь насчет доброго здоровья, ста лет жизни и вручил Жарову сверток.

В это время в прихожую заглянул сын Петра Петровича от первого брака, семилетний Шурик. Увидев Сакулиных, он с громким, радостным криком бросился к Константину Николаевичу. Сакулин легко вскинул мальчика, и тот крепко обхватил его за шею.

В руке у Шурика был какой-то черный, овальной формы предмет; мальчик звучно шлепнул им Сакулина по спине, когда обхватывал гостя за шею. Мария Ильинична покосилась на предмет и узнала его.

Мальчик держал пепельницу, ту самую небольшую бронзовую пепельницу, которую ровно год назад Константин Николаевич подарил другу. Что и говорить, она здорово изменилась за год: ни ружья, ни сетки с дичью, собачка обезглавлена, бронза в садинах и вмятинах.

Опустив Шурика на пол, Константин Николаевич тоже увидел и узнал пепельницу. Только Жаров еще ни о чем не догадывался и с умилением смотрел на сына.

— Хотите, я вас грецкими орехами угощу? — выпалил мальчик и сразу же полез в

обрисовавшиея полушариями карманы. — Берите, берите! — торопил он, пригоршнями наделяя гостей. — А если у вас зубы плохие, я живо вам нараскалываю.

Шурик подбежал к порогу, положил на него орех и брякнул по нему пепельницей. Орех громко треснул. Сакулин чуть вздрогнул и потупился.

— А, вот они! — слышался в дверях голос Серафимы Викторовны. — Уж мы ждали-ждали!

Она двинулась навстречу гостям, вытянув вперед красивые, полные руки.

Хотя было заметно, что Сакулин через силу улыбается хозяйке, хотя Мария Ильинична стояла молчаливая, строгая, озабоченно, как на работе, наклонив голову, все, пожалуй, обошлось бы благополучно для Жаровых и они так ничего и не узнали бы, если бы Шурику не вздумалось вдруг бухнуть:

— Дядя Костя, а ведь это ваша пепельница. Помните?.. Мне мама ее насовсем играть отдала. Только теперь тут уж поломась...

Жаров остолбенел.

Сакулин механически взял пепельницу из рук мальчика.

— Д-да, м-моя, эт-то в-верно, — произнес он, страшно заикаясь и все еще сисясь улыбаться.

Петр Петрович вышел наконец из состояния оцепенения. Кольнув жену угрюмым, потрезвевшим взглядом, он взял

друга под руку и решительно повёл из передней.

Шурик запрыгал им вслед.

Женщины остались одни. «Боже мой, ведь я же говорила: что не надо приглашать эту пару!» — мелькнуло в голове Серафимы Викторовны.

Она ухватилась за первую же пришедшую ей на ум версию:

— Какая досада, право! Вы представляете, мы делали уборку... она упала. Катя... знаете, наша домработница... такая неосторожная... сбросила. И, знаете, еще и наступила. Эти домработницы — сущее бедствие...

Более всего на свете боясь выглядеть пристыженной, виноватой, Серафима Викторовна старалась держаться как можно осанистее и невозмутимее. Закидывая голову и косясь на стенное зеркало, она поправляла прическу. И все-таки Жарова чувствовала, что осанка не спасает ее, что слова звучат неубедительно, а движения рук нервны и фальшивы. Продолжая распространяться о домработнице, она едва сдерживалась, чтобы не взорваться и не сказать что-нибудь резкое, надменное, прекращающее эту противную сцену.

Сакулина почти не слушала хозяйку. «Вот и познакомились, потолковали по душам!» — со злой усмешкой подумала она. Ей вдруг вспомнилось, как сегодня в конце смены она ехала к фаянсовому заводу на дрожащих ступеньках попутного маневро-

вого паровоза, как, выпрыгнув на бетонную площадку заводского склада, радостно поздоровалась с кладовщиком и экспедитором и как потом они все вместе долго и безуспешно ждали Жарову.

В передней густо пахло ванилью, из двери, ведущей в столовую, доносились возгласы гостей, взрывы смеха, бряцание ножей и вилок... «А ну их!» — в сердцах решила вдруг Мария Ильинична и повернулась к своему пальто.

Жарова встрепелась:

— Вы что, уходите?

— Да, я ведь только мужа провожала, — ответила Сакулина, не заботясь об искренности своего голоса. — Мне еще в ночь заступать. Мальцева заболела...

Собственная ложь раздражала Марию Ильиничну. Она готова была, отбросив свои уловки, тотчас же выложить все — и о погрузке, и о пепельнице, и еще о чем-то, глубоко и больно уязвившем ее. И, боясь, что она в самом деле выскажет все это в столь неподходящей обстановке, Сакулина поскорее взялась за дверь.

* * *

В разгаре вечера Петр Петрович, заболтавшись с гостями, потерял друга из виду. Когда он спохватился, Сакулин уже исчез из столовой. Жаров кинулся в кабинет. На диване в неловкой позе, одетый, спал Шурик. Петр Петрович выключил свет

и поспешил в переднюю. Вешалки гнулись под тяжестью одежды, но Костя носил приметное кожаное пальто, и если бы оно еще оставалось здесь, то, конечно, сразу бросилось бы в глаза.

Желая успокоиться, раздосадованный хозяин вернулся в кабинет.

На письменном столе, в полусвете, падающем из соседней комнаты, лежали подарки. Тут же грудились вороха оберточной бумаги, валялись куски шпагата.

Украдкой, стесняясь своего любопытства, Жаров прошелся глазами по вещам.

Шкатулка, очевидно, палехской работы. Какая прелесть! Но ведь дорогая штука! Зачем так тратиться?.. Стопки. Серебряные, целых полдюжины. Один футляр чего стоит!.. Несессер. Рублей в пятьсот вскочил...

«Несессер» по-французски — необходимый. Но зачем же такой великолепный? Не подарки, а настоящие дары. Зря. Новая хозяйка — новые друзья, новые порядки.

Опасаясь, что кто-нибудь заметит в дверь, как он рассматривает подарки. Петр Петрович отошел от стола. Продолжая испытывать неловкость, он с неудовольствием подумал, что жена не постеснялась развернуть вещи. Хотя бы подождала, когда гости уйдут. Экое нетерпение!..

«Конечно, Сима прикрыла дверь, когда распаковывала их», — решил Жаров, но мысль эта не принесла удовлетворения. Наоборот, представившаяся ему картина —

закрытая дверь, притихшая комната и жена, торопливо разрывающая бечевки на свертках, — еще больше испортила настроение.

«Тьфу ты, пропасть!» — выругался Петр Петрович и, махнув рукой, двинулся было к гостям, как взгляд его упал на окно.

На подоконнике стояла пепельница. Та самая. Кто-то, видимо, совсем недавно, раздавил в ней сигарету, едва начатую. Гильза наполовину лопнула, табак рассыпался по избитому бронзовому дну.

Жаров знал, что никто из гостей, кроме Кости, не курит сигарет. Значит, он недавно стоял здесь, у этого окна, у этой пепельницы. Стоял один.

А где же его сегодняшний подарок? Жаров пробежал глазами по столу. Костин сверток лежал в сторонке, наполовину заваленный оберточной бумагой, которую Сима побросала туда, распаковывая другие подарки.

«Даже не развернула, обиделась на Машу и Костю», — подумал Жаров, но тотчас же почувствовал, что неискренен перед собой, что жена не распаковала Костин подарок совсем по другой причине.

В столовой умолкла радиола. Среди оживленного говора гостей послышался возглас Симы:

— Другую, другую сторону заведите! Там чудесный падекатр.

На диване заворочался Шурик. Он хотел лечь поудобнее, но одежда стесняла

его, и мальчик, не открывая глаз, страдальчески морщился.

Похлебку ты варишь,
Мой старый товарищ... —

пришло почему-то вдруг в голову Петру Петровичу.

Радиола заиграла падекатр. Послышался шум отодвигаемых стульев. «Симочка, научите хоть несколькими па!» — донесся чей-то возглас... А Жарову совсем расхотелось выходить к гостям. Он все шагал и шагал из угла в угол в полутьме кабинета.

МАМА ШУРА



оставленная «напопа» ржавая металлическая бочка загородила всю тормозную площадку. Анатолий бросил ватник на скамеечку, прилепившуюся к стенке вагона, вытер рукой пот с лица, уселся. Да, изрядно пришлось понатужиться, пока погрузил бочку: как-никак шестьдесят килограммов бензина, да и тара не из легких.

Впрочем, главное еще впереди. В Болдырях поезд не остановится. Придется прыгать на ходу. Лучше всего, пожалуй, перед станцией. Там насыпь, и бочку можно прямо с площадки сбросить под откос. Так безопаснее. Только бы скинуть ее, проклятую, удачно, а уж самому-то не впервой прыгать. Ну ладно, дальше видно будет.

С головы поезда донесся долгий свисток. По составу с лязгом пробежала судорога. Поплыли тени по широкой, синей от мазута луже между путями.

На землю садились сумерки, свежело, поезд быстро набирал ход, и Анатолий с удовольствием ощутил, как прохлада

бежит по телу и как легко становится дышать. Еще чуть-чуть ломило плечи и руки, но это было даже приятно.

И никаких особых трудностей. Чудачка же мама Шура! «Дрезину, говорит, требуй». На шестьдесят килограммов груза — дрезину! Кто же даст? Конечно, на маленькой «Пионерке» неплохо бы слетать до Болдырей и обратно. Так ею пользуется только сам начальник, Печерица!

Ездили же вот так, товарным, ребята и по полной бочке возили. А он разве хуже? Живо обернется.

Что-то она сейчас делает, мама Шура? Наверное, в общежитии генеральный смотр производит в канун праздника.

Промелькнул свернутый желтый флажок дежурного по станции Вязы. От Вяз поезд пошел по второму пути, недавно принятому в эксплуатацию. Анатолий не вытерпел, подскочил к краю площадки и, схватившись за поручни, высунулся на вытянутых руках над ступеньками.

Из-под хвостового вагона убегала светлая лента колеи. Сразу видно — новый путь. Балласт чистый, шпалы желтенькие — красиво! А рядом — другой, почерневший от времени, пропитанный пылью и копотью. словно кто-то разными красками две линии провел.

Как здорово поезд идет — ни толчков, ни качки, словно по струнке. А кто построил путь? Он, Анатолий Закатов, с товарищами! Знай наших!

В этот вечер Александра Петровна Тишкина и в самом деле собиралась поглядеть, как молодежь приготовилась к празднику. Да только никакого осмотра не получилось. Пришла она в общежитие в сумерки, а тут неожиданно погас свет. И надолго ли — неизвестно. А как он нужен, особенно девочкам — у них в комнатах сейчас в самом разгаре и глажение и шитье. Вспомнила Александра Петровна — припасены у нее три свечи. Сбегала домой, перерезала свечи пополам, раздала по комнатам. Только раздала — в красном уголке кто-то загорланил песню. Новая забота: надо за гуляками поглядеть — вечер почти что праздничный.

Так и прохлопотала бы до тех пор, пока все спать не улеглись, да пришел из кино Коля Пахомов. Натолкнулся на Александру Петровну в темном коридоре:

— Мама Шура, ты? А что Корочка, заболела, что ли?

Корочка — это сменщица Александры Петровны, вторая кубовщица общежития Капа Соловьева. Звали ее Корочкой за необыкновенную худощавость. Капу не любили — злая, крикливая. У нее без скандала чайника горячей воды — голову помыть — не выпросишь.

— Нет, Капа-то дежурит, — замылась Александра Петровна. — Да темно вот... Долго ли до греха...

Открылась ближняя дверь. Показалась

освещенная слабым, колыхающимся светом огромная, почти во всю высоту двери, фигура Ивана Краснова.

— Эй, книжник, — сиплым басом загудел Краснов, — торопись на сто пятьдесят капель! Все законно, праздник! Роман Алексея Толстого «Хождение под мухой»!

Александра Петровна тронула Пахомова за рукав:

— Видишь!

Николай успокоил:

— Ничего, мама Шура. Ты иди, иди, отдыхай. Я погляжу. — И вдруг рассмеялся. — Ну, если Краснов разбуянится, что ты с ним сделаешь? Он же тебя, такую пичужку, одной рукой в форточку выкинет.

Краснов обиделся:

— За кого ты меня принимаешь? А ну, канай по холодку!

Николай покачал головой:

— Понесло! Тоже мне, осколок блатного мира.

— Я — осколок?

Краснов с грозным видом надвинулся на Пахомова. Николай ростом чуть повыше мамы Шуры, но в плечах широк, крепок. Не переставая улыбаться, схватил товарища за бока.

— Берегись, защечочу!

Завозились, запыхтели. Потом раздался хохот, повизгивание Краснова:

— Ой, Колька, отцепись, не могу больше!

Ввалились в комнату, захлопнули дверь.

Александра Петровна вышла на крыльцо.

Вечер выдался ясный, лунный, и весь поселок строителей хорошо виден. Он еще не прибран как следует, потому что весна запоздала. То тут, то там поблескивает жидкая грязь, в ней утопают доски, щепки, камни, разный строительный мусор.

Поселок молод и невелик. Он расположен на краю села — районного центра. Три длинных, приземистых деревянных дома барачного типа вытянулись в одну линию. В первом — контора строительного участка, в среднем — общежитие молодежи. А третий еще пустует — не закончены внутренние работы, тоже будет общежитие.

Напротив — две линии финских домиков, аккуратно оштукатуренных, одинаковых, как птенцы. За ними — три цепочки вагон-теплушек. Дальше уже станция — Таярская.

Александра Петровна живет в финском домике как раз напротив общежития. Узенькой, еще не высохшей тропкой пробежала она к себе. Не успела вытереть ноги, как из всех окон поселка брызнул свет. Ну вот и хорошо — И Коля Пахомов в общежитии, и электричество дали.

Уже в комнате, увидев в огромном ворохе неглаженного белья рубашку Толи Закатова, вспомнила: с товарным горючее повез в Болдыри, на прорабовский пункт. Глянула на будильник — десять часов. Ох, пора бы уже ему вернуться! Да нет, рано еще, конец-то немалый.

Домик началo слегкa трясти. Поезд. И кажется, оттуда, со стороны Болдырей. Ну да, оттуда. А скорость не сбавляет. Напроход, видать, проскочит станцию. Да это еще ничего не значит. Толя спрыгнет.

А может, он приедет с другим поездом? Все-таки большинство поездов делают остановку. Надо, пожалуй, подождать хоть часик. Все равно, вон сколько белья неглаженного...

Четырехлетняя Светлана, спящая на кровати Александры Петровны, сбросила с себя одеяло. Она лежит, разметав руки, поперек постели, и светлая, русая, как у матери, голова ее неловко свешивается с подушки. Егоза, и во сне свой характер показывает. Зато младший братишка ее, крепыш Валерик, обладатель деревянной кровати, видимо, ни разу не повернулся. Как положила его Александра Петровна сонного лицом к стене, так и спит.

Кроме этих двух кроватей, в комнате стоит третья — Капы Соловьевой, сейчас пустующая. Еще есть стол у единственного окна да три стула. Впрочем, больше уж ничего и не уместится.

Рядом — кухня, и того меньше. А все вместе — половина домика. У каждой половины — отдельный вход.

Что ж, квартира как квартира. Не то что в вагоне. Там у ребят простуда не проходила. С вечера натопишь — дышать нечем, а утром проснешься — одеяло к стенке примерзло. Правда, и жила-то она в самом

худшим вагоне. Такой уж дали, когда поступила на стройку. Другого свободного не нашлось. А теперь что! Теперь грешно на жизнь жаловаться!

Толик на днях выпалил: «Как построим второе общежитие, выставим с твоей квартиры Корочку, мигом выставим». У него все мигом. Мальчишка. Что он понимает? Разве можно сейчас Капу в общежитие? Шутка ли — муж ушел. Правда, и Алексея-то осуждать нельзя — уж очень тяжелый характер у Капы. А все ж какая Капа ни есть, разве легко ей?

Нет, не понять этого ни Толику, ни Ване Краснову. Даже Коля Пахомов и тот говорит: «Хоть и жалко мне Корочку, а все же не люблю ее. Каково-то тебе, мама Шура, с ней под одной крышей?»

Ничего, была бы крыша. А вот когда ни крыши, ни денег, ни близкого человека — это куда уж как плохо. Она по себе знает.

Неслышно снует горячий уют. Растет цветная стопка выглаженного белья. За привычным делом в домашней тишине текут чередой думы.

Капа-то судя по всему надежду не теряет. Только молчит. Что ж, случается ведь, и возвращаются. Алексей — парень добрый, честный, тоже, наверное, переживает.

А вот Семена уж не жди. Коли решился сбежать в дороге, бросить детей, как щенят, тут же пиши пропало — не объявится, не вернется. И вот удивительно: сейчас и думается обо всем этом без волнения.

А тогда двое суток металась по вокзалу — все не верила, надеялась, ждала. Наконец посмотрела правде в глаза: ушел Семен, бросил, надо начинать жить без него.

Натолкнулась на объявление: требуются рабочие на железнодорожную стройку. И оказалось недалеко — пять часов езды. Продала пуховый оренбургский платок, купила билет и приехала. Явилась в контору — в одной руке Валерик, в другой — чемодан, за юбку Света держится.

Хорошо, что прежде не в пуховиках, не в нежностях жила. В войну, сразу после школы ФЗО, если разобраться, так девчонкой еще, махнула, куда и не снилось, — в Заполярье, в Воркуту. С первой партией вольнонаемных туда приехала, на голое место, шахтерский город закладывать. Вокруг пустыня, ветер теребит, мнет низкий, голый кустарник. А то вдруг в середине дня обрушится на землю такая метель, что в двух шагах ничего не видно. Со строительной площадки в барак бредешь — и за канат держишься. Иначе свалит, унесет, засыплет. Да и наголодаться пришлось — время военное, паек известно какой.

Три года, самых тяжелых, проработала. Уехала потому, что сердце стало сдавать — место слишком высокое.

Потом на Урале жилье строила, опять же шахтерам. Там и замуж вышла за неопеседу Семена. Ох, и пришлось же помотаться с ним, ветрогоном, по стране! Все легкие рубли искал. Так что хлебнула лиха!

...В затоптанном, холодном коридоре конторы остановилась перед дверью с надписью: «Отдел кадров». Посадила Свету на чемодан. Прежде чем войти, прислушалась.

— Расчета не дам, — доносился из открытой двери чей-то жесткий, уверенный голос. — Отработаешь, как положено по договору. Понял? И не наступай мне на горло. Понял? Я таких, как ты, Красноз, искателей счастья, растратчиков государственных денег, насквозь вижу.

— А вы мне статью не пришивайте, — ответил сиплый, басовитый, но, видимо, молодой голос. — Растратчики! Искатели! Не пустите — сам уйду.

— Найду и под суд отдам.

— Скажи пожалуйста! Ох, как страшно! Ну ладно, всё. Бывайте здоровы, начальник!

В коридор вышел здоровяк лет двадцати пяти, краснолицый, носатый, в лыжном костюме, выцветшем, но довольно чистом, и в старательно начищенных кирзовых сапогах. Нельзя сказать, чтобы он был очень расстроен. С любопытством поглядел на Александру Петровну и вдруг запел во весь голос:

На дворе чудесная погода,
В окошко светит месяц золотой.
Мне здесь сидеть еще четыре года.
Болит душа, и хочется домой.

Проверив документы, она вошла в маленькую комнату, перегороженную барьером. Перед барьером стоял необыкновенно

толстый человек в кителе, в брюках галифе и сапогах. Большое, мясистое лицо его расширялось книзу, подбородок закрывал шею и даже верхнюю пуговицу кителя.

Толстяк, казалось, заполнял все пространство до барьера, и Александра Петровна остановилась на пороге, неудобно держась рукой, сжимавшей документы, за скобку полуоткрытой двери.

Человек глянул острыми глазами на завернутого в одеяло Валерика, бесцеремонно осмотрел всю фигуру Александры Петровны и отрывисто спросил:

— Наниматься?

— Да... Штукатур я, — тихо ответила Александра Петровна.

— Штукатуры мне нужны. А вот яслей у меня нет. Поняла?

— Так уж как-нибудь...

— Как-нибудь! Мне, голубушка, нужны люди, которые работают как следует, а не как-нибудь.

Он сильной, большой рукой отстранил Александру Петровну от двери и торопливо выкатился из комнаты.

Только тогда стало видно, что за перегородкой сидит женщина с забинтованной рукой и что-то озабоченно, торопливо пишет. Бросалось в глаза, как тщательно отглажено ее синее платье с форменными металлическими пуговицами железнодорожника, как старательно причесаны волосы, черные, ровные, стянутые на затылке в тугой, увесистый пучок.

— Вы местная? — спросила женщина, не отрываясь от своего занятия.

— Нет.

— А откуда же?

— Из Бугуруслана.

Женщина бросила на посетительницу короткий взгляд.

— Одинокая?

— ...Да.

— И еще дети есть?

— Дочка.

— Сколько ей?

— Четыре исполнилось.

Женщина положила наконец ручку, подняла голову.

— Яслей у нас действительно пока нет. И детского сада еще нет. Не знаю... Видимо, вы нам не подойдете. Ну, согласитесь сами, что...

Да, да, конечно, эта женщина и толстый начальник — они говорили правильно, Александра Петровна и не собиралась им возражать. Она молчала, она только молчала. Но умолкла и женщина с забинтованной рукой. Теперь она вглядывалась в бледное, худое лицо посетительницы, застывшее в горестном раздумье. И вдруг от этого взгляда, такого пристального, спрашивающего, Александра Петровна остро почувствовала, как жестоко обидела ее жизнь. И тогда она как-то неуклюже, боком сползла на стоявшую у двери скамейку и разрыдалась.

Женщина оказалась начальником отдела кадров. Она добилась, чтобы Печерица

согласился взять Александру Петровну кубовщицей общежития.

В тот же день Шабанова надолго уехала лечить руку. И хотя Печерица уже подписал приказ о зачислении Александры Петровны в штат, ей все казалось, что без Шабановой начальник непременно передумает, что на ее должность у него есть немало других, которым не нужно жилье и которые вообще не причинят столько беспокойства, сколько обычно причиняют одинокие матери малолетних детей. Устраиваясь в отведенной ей половине двухосного вагона, она старалась как можно реже обращаться к коменданту. Но комендант, шумливый старичок, всегда немного подвыпивший, сам дал и кровать с постельными принадлежностями, и стол с двумя табуретками, и кастрюли, и даже таз с умывальником.

И все же она долго еще боялась попадаться на глаза начальнику конторы. Но однажды, как нарочно в середине дня, когда она спешила проведать детей, Печерица встретился ей около вагона. Похолодев от волнения, Александра Петровна ждала, что он спросит, почему она отрывается от работы; ей придется напомнить ему о дегах, и это заставит его снова подумать, стоит ли держать ее в конторе. Но начальник, пыхтя и отдуваясь, торопливо прошел мимо, не обратив на нее никакого внимания. И Александра Петровна подумала: «Ну и слава богу!» До нее ли ему,

у него вон какая стройка — семьсот рабочих! Может быть, когда-нибудь потом она, собравшись с духом, сама придет к этому важному, занятому человеку и скажет ему спасибо за все, что сделали для нее на стройке. Если ее оставят здесь, конечно. А как хотелось, чтобы оставили! Надолго. Хоть навсегда.

Поначалу она была все больше одна. И не потому, что сторонилась людей. Просто не оставалось времени на знакомства. Она всегда удивлялась, как это другие женщины находят возможность поболтать часок-другой на улице или посидеть дома просто так, без дела, за орехами, семечками, или даже поспать в середине дня. Если в доме вымыто, выскоблено, прибрано, то непременно надо что-нибудь постирать, если нечего стирать, то нужно что-то погладить, а если все выглажено, требуется что-то заштопать или искупать дочку. Ее глаза, казалось, мало что видели, кроме дела.

А сейчас, без Семена, — и подавно. Дети, дом, работа — все за ней одной. Правда, уж если по чести говорить, так обязанности кубовщицы не очень-то обременительные. Посиживай себе в тепле, следи за «титаном» да плитой, над которой рабочая одежда сушится. Все в одном помещении, и выходить, кроме как за дровами да за углем, никуда не требуется. Но уж, видно, так она устроена — и здесь утонула в хлопотах.

Ну, во-первых, в самой кубовой. «Ти-

тан» потускнел, закоптился. Протерла его тряпкой с мылом, почистила песком. Стал как новый. Глянула на умывальник — краники медные. Вот и хорошо! Вычистила их кирпичным порошком — засияли, засверкали, сразу в помещении повеселело. Потом за печь взялась. Она вся в бурых полосах — рабочие креозотом измазываются, когда шпалы перетаскивают, и одежда пачкается. Долго ли побелить! Известь, мел — все рядом.

У ребят чайников не хватает. Сбегала к коменданту — оказалось, чайники на складе лежат. Пока раздавала их по комнатам, увидела, что у ребят на двух-трех человек одна табуретка. А табуреток на складе опять же полным-полно. Снова к коменданту. Тот, как всегда, пьяненький, кричит беззлобно:

— Сам знаю, тетка. Подводы нету. Не дает начальство подводу.

Александра Петровна руками всплеснула:

— На сто метров — и подводу требовать! Да я живенько сама перетаскаю.

Перетаскала. Так и начало цепляться одно за другое.

Шустрая, ловкая, выносливая, она все делала незаметно, не проронив иной раз и слова.

— Смотри ты, — первый выразил восхищение Краснов, — как мышка!

С Краснова и началось ее сближение с обитателями общежития.

Краснов пришел на стройку недавно, отбыв заключение. За что — в общежитии точно не знали. Сам он утверждал, что «срок тянул за зря». Ему не верили, а он, казалось, нисколько не тревожился по этому поводу. Правда, здесь за Красновым никаких серьезных грехов не замечали, но, легкомысленный, бесшабашный, он частенько нарывался на неприятности. То нагрубит в бухгалтерии, то вдруг среди ночи заорет на все общежитие песню, а то перетащит к себе в комнату радиоприемник и патефон из красного уголка. Ему частенько доставалось от девчат за слишком бесцеремонное обращение; впрочем, он ничуть не обижался и, смеясь, давал сколько угодно колотить себя по широкой, сильной спине. Вообще Краснов отличался веселым, общительным нравом, но бросалось в глаза, что вокруг него всегда была какая-то пустота. Человек поет, улыбается, острит, а все один да один.

И вот однажды поздно вечером Краснов явился в общежитие сильно пьяным. Таким его Александра Петровна ни разу не видела. Он остановился в дверях кубовой, расположенной в самом начале коридора, навалился всем телом на косяк двери и, низко свесив голову, задумался о чем-то натужно и горько. Александра Петровна поспешила к нему и, подставив свои худенькие плечи под его большую руку, сказала:

— Пойдем, пойдем! Опрись... помогу.

Краснов повел головой в ее сторону, глянул исподлобья.

— А-а... мышка! Хороший ты человек, мышка. А я вот котлы продал. Котлы — это часы, понимаешь? Ну и... гуляю.

— Зачем же продал? Покупать да продавать — какой прок?

— Понимаешь, мышка, письмо я получил... Подожди, где же оно?

Чувствовалось, что он очень хотел выговориться. Александра Петровна провела его в кубовую, уселась рядом. Краснов отыскал в заднем кармане брюк письмо — смятый треугольник. Она прочитала:

«Здравствуй, незнакомый человек! Твое письмо решили распечатать мы, потому что Алексеич уже полгода как помер. Ты сюда больше не пиши, раз дяди твоего нету. Извини, если что неладно написали.

Потаповы»

— Все... Точка... — Иван горестно запустил руку в жесткие, начесанные на лоб челкой волосы. — Больше не пиши! Никуда не пиши! Некому тебе писать. Был один дядя — и тот отдал концы... Скажи мне, мышка: разве это порядок, что человеку даже письма, простого письма послать некому?

Что дядя? Кто его знает, какой он, дядя? Иван и не видел его никогда. Отыскивая его через адресные столы, он не собирался к нему ехать и не рассчитывал на какую-либо помощь. Но самое малень-

кое — завязать переписку, — на это он имел право надеяться. Получать и отправлять письма, как любой из его соседей по общежитию, — больше ничего.

Нет, не сладко жилось этому всегда распевающему песни, всегда улыбающемуся парню!

Он хорошо видел, что его сторонятся, и только разная шпана, которая нанялась на стройку, чтобы получить подъемные, а затем скрыться, не прочь взять его в свою компанию. Уехал бы на другую стройку — не отпускают. Да ведь и там разглядят, кто он. Сразу скажут: «Вырос среди блатных». А оно так почти и было. И насчет заключения — что срок зря отбывал — соврал. Участвовал в краже. Но теперь он сказал себе: «Точка». А ему не верят.

— Поверят, — убеждала его Александра Петровна. — Потерпеть надо.

— Терплю.

— Вот-вот... Только уж очень шалый ты, держать себя не умеешь.

— Верно, не умею, не научился.

...На другой день рано утром Александра Петровна зашла к Ивану Краснову — поглядеть, не проспал ли он.

В комнате — три кровати. Худошавый, стройный паренек с веснушчатым лицом и волосами цвета чистого золота представился:

— Толяша.

Затем показал на Краснова и третьего обитателя комнаты — низенького крепыша,

примерно одних лет с Красновым — и добавил:

— Ваняша. Коляша.

Александра Петровна знала, что фамилия «Коляши» — Пахомов. Фамилии рыжего она еще ни разу не слышала, хотя успела заметить, что в общежитии он пользовался тем особым вниманием, каким пользуется в любой компании самый юный и самый неопытный. Товарищи любовно звали его «Толик-цветик»; что касается девушек, то им пришлось по вкусу другое прозвище — «Золотистый-золотой». Непоседа и вьюн, Толик-цветик, даже задержавшись на одном месте, все равно без конца крутил головой и выделял что-нибудь ногами и руками.

Сейчас Анатолий вышагивал по комнате, уминая кусок черного хлеба и запивая его холодной водой из большой алюминиевой кружки. Его товарищи с азартом уписывали столь же несложный завтрак, только воли себе налили горячий. Нетрудно было догадаться, что в их кружки не попало ни крупинки сахара. Пахомов сосредоточенно листал за столом книгу, а примостившийся рядом Краснов с любопытством вытягивал шею, стараясь разглядеть картинки на мелькающих страницах.

— Хотя бы картошки сварили, — несмело заметила Александра Петровна. — От одного хлеба невелика польза. Через час опять голодные.

Толя сразу же откликнулся:

— Картошки? Это можно, это просто. Только зачем же варить? Лучше поджарить. Коляша, на каком масле прикажешь — на коровьем или на постном? А может, на сале? Может, залить яйцом?

Пахомов улыбнулся и сказал Александре Петровне просто: .

— На хлеб денег наскребли, а на картошку не хватило.

Она не удивилась. Достаточно нагляделась на стройках, как живет холостая молодежь. В получку — как сыр в масле катаются, а перед получкой — зубы на полку. И хотя вид у всех троих был совсем не несчастный, хотя крайняя скудость завтрака их нисколько не удручала, Александра Петровна с чисто женской практичностью тут же прикинула, в каком достатке могла бы жить вся эта компания при разумном расходовании денег. И ведь случится же так — никто не тянул за язык, никто ни о чем не просил, но она неожиданно для самой себя возьми да и скажи:

— Вы бы в получку-то мне отдавали деньги. Я уж покупала бы вам продукты. Может, иногда и сварила бы что-нибудь.

При ее словах даже Толя застыл в не-движимости и молчании. Раньше других отозвался Краснов:

— А что, порядок! Все законно! Получаем аванс и берем тебя, мышка, в мамы.

Но Пахомов остановил его неторопливым движением руки.

— Не управитесь, — сказал он Александре Петровне. — Вон каких три молодца. А у вас своя семья, я же знаю.

— Да уж как-нибудь...

Но Пахомов стоял на своем:

— Нет, всех троих нельзя — замучаетесь. А вот одного, — он кивнул головой на Толю, — я бы даже очень просил вас взять на свое попечение.

Толя петухом наскочил на друга:

— Почему только меня? Почему?

Николай не стал пускаться в дипломатию:

— Потому, что ты совсем еще птенец, только-только из-под маминого крыла выпорхнул. Тебе и здесь мама необходима. Верно, Краснов?

Но Краснов буркнул что-то невнятное и начал одеваться.

— Туго же ты, брат, соображаешь, — сказал ему Пахомов.

— А ты только и думаешь о своем Закатове, — ответил Краснов и вышел из комнаты.

Оставшиеся почувствовали себя неловко.

— Пойду, — виновато промолвила Александра Петровна. И уже у дверей добавила с робким укором: — Зря вы его отталкиваете. Он ведь сирота, с малых лет сирота. А человек ничего, хороший. Вы приглядитесь — не хуже других человек.

То ли подействовали эти слова, то ли отходчивый Краснов сам пошел на миро-

вую, но после получки все трое явились в вагон к Александре Петровне. Пахомов держал шуточную речь, смысл которой сводился к тому, что все население их комнаты слезно просит Александру Петровну взять под жесткий контроль бюджет Толи Закатова, обладающего удивительной способностью начисто разделяться с получкой за каких-нибудь два-три дня. Она, растроганная, немного растерянная, сказала, что обещает готовить ему завтраки, обеды и ужины и стирать белье. Толя пришел в восторг, вывалил на стол всю получку, но Александра Петровна отсчитала себе только сто пятьдесят рублей — на полмесяца.

— Теперь ты на полном пансионе у тети Шуры, — заключил Пахомов.

— У мамы Шуры, — поправил Краснов.

Неожиданно получилось, что после образования «пансиона» Александре Петровне стало даже немного легче управляться с детьми. Толя хотя и отличался бурной жизнерадостностью, но в душе, видимо, скучал по дому, и его просто тянуло в семью мамы Шуры. Он с удовольствием помогал ей по хозяйству, привязался к Светлане и Валерику и, приходя после работы поесть, затевал с малышами такие игры, что вагон сотрясался от возни и хохота. Случалось, что с ним являлись Краснов и Пахомов или еще кто-нибудь из общежития, — словом, «нянек» привалило больше чем достаточно.

В следующую получку Пахомов попросил:

— Мама Шура, надо бы Краснову костюм купить. Сходишь с нами в магазин?

И оттого, что речь зашла именно о Краснове и завел ее Пахомов, она, вся по-светлев, промолвила радостной скороговоркой:

— Вот и хорошо! Вот и прекрасно!

Подходящий по цене костюм Иван облюбовал еще до получки. Примерил, спросил, как он сидит на нем, продавщицу, известную в районном центре красавицу и модницу. Та, окинув покупателя скучным, будничным взглядом, ответила:

— Ничего, вполне прилично.

Краснов решил, что костюм — лучше некуда.

Но Александра Петровна вынесла иное заключение. Она долго мяла и расправляла полу пиджака, прикладывала ее к щеке и в конце концов заявила, что в материале много «бумажки». Пахомов и Закатов все же потребовали, чтобы Краснов примерил костюм. Иван натянул пиджак на свои широченные плечи и, к немалому изумлению, услышал от мамы Шуры, что тут у него «тянет», там «морщит», а здесь «западает». Краснов вспыхнул, швырнул костюм продавщице и сказал, что у нее «надо вынуть глаза и проверить, видят они что-нибудь или нет». Продавщица оказалась тоже не промах и ринулась в от-

ветную атаку, но Николай с Анатолием не пожалели усилий, чтобы приглушить скандал. Промтоварный магазин на селе один, здесь не купишь — останешься без вещи. А лыжный костюм Ивана, который он надевал, как говорится, и в пир и в мир, расползался на локтях и коленках.

Примеряли еще три костюма. Иван не проявлял уже особого интереса: какое удовольствие в покупке, коли настроение испорчено! Да и цена костюмов не соответствовала сумме, которой Краснов располагал.

Впрочем, мама Шура забрала и эти три. И только четвертый костюм, стоимость которого превышала наличность Краснова на целых триста рублей, ей показался подходящим.

— Бери!

— На какие шиши? — удивился Иван.

Тогда она развязала платок и начала было считать бумажки.

— Что ты, что ты, мама Шура! Мы сами можем, — почти крикнул Пахомов.

Он быстро вынул две сотенные и полупросительно, полутребовательно глянул на Анатолия. Но Закатов уже сам выгребал содержимое своих карманов.

На крыльце магазина притихший Краснов сказал глухо:

— Спасибо вам! Сдохну — не забуду.

...В общежитии любили давать клички. Носил ее даже серьезный, всеми уважаемый Пахомов. Прозвали его «Коля-педа-

гог» — очевидно, потому, что он всегда таскал под мышкой книги.

Были прозвища приятельские, ласковые, были добродушно-иронические, были и злые. Но так или иначе — появление каждого означало, что человека узнали, что он перестал быть чужим, что его приняли в свою среду таким, каков он есть.

Александра Петровна с любопытством ждала, какую же кличку получит Краснов. Пока его чаще всего звали по фамилии. Это звучало как-то холодно и, пожалуй, немного обидно.

И прозвище появилось.

Иван вдруг с азартом набросился на книги. Сначала он, видимо, просто хотел подражать Пахомову, но потом увлекся по-настоящему.

Читателем Краснов оказался чрезвычайно темпераментным. Каждое взволновавшее его место он хотел непременно кому-нибудь прочитывать вслух. Но Пахомова не удивишь, поскольку чаще всего речь шла о книгах, уже знакомых ему, а непосреду Закатова просто невозможно было поймать. И водопад страстного красновского чтения обрушился на Александру Петровну. Наскоро помывшись и поужинав, Краснов устремлялся с книгой в кубовую. В маленьком помещении теперь все подавлял, над всем господствовал его громовой голос. К концу дежурства у Александры Петровны начинало гудеть в голо-

ве, и она уже совершенно не усваивала смысла извергаемых Иваном слов.

— Держись, мама Шура, держись! — смеялся Пахомов.

Однако вскоре и ему пришлось туго.

Если по части блатных слов Краснов мог считать себя профессором, то по части слов литературных он даже от Закатова отставал, как дошкольник от старшеклассника. Встречая в книгах незнакомые выражения, он первое время проглатывал их, не переваривая. Но чем дальше, тем труднее становилось обходиться без пояснений, и Александра Петровна посоветовала Ивану почаще обращаться за справками к Пахомову.

Вот тут-то и попался Коля-педагог. Только займется чем-нибудь вечером, а уж Краснов бежит с вопросами. Да что вечером — среди ночи приходилось выдерживать приступы. К тому же глубоко в душе Пахомов чувствовал, что он не всегда оказывается на высоте и над авторитетом его нависает угроза.

Пожертвовав воскресеньем, Пахомов съездил в областной центр и, торжествуя, вручил другу словарь иностранных слов.

Но Краснов был человек крайностей. Теперь он сосредоточил весь свой пыл на словаре, задавшись целью выучить его. Никакие увещания на него не действовали. Он знай твердил свое:

— «Антураж — окружение, окружающие; среда, окружающая обстановка...

Анфас — лицом к смотрящему; вид лица прямо спереди...

Анфилада — ряд комнат, сообщающихся друг с другом дверьми, которые расположены по одной оси».

Заучив три-четыре слова, принимался за следующую по порядку группу.

Пахомов смотрел-смотрел на него и изрек однажды:

— Ну, этак ты совсем Далем станешь.

— Кем, кем? — заинтересовался Краснов.

— Далем. Жил в России писатель такой, толкователь слов — Даль. Он словарь составил.

Случившийся при разговоре Закатов навострил уши и скроил хитрющую физиономию.

— Как ты говоришь? Даль? А что, здорово — Даль! Ваня Даль. Порядок!

Так и пошло по общежитию и по стройке — «Ваня Даль».

В середине зимы приехала Шабанова, и вскоре Александре Петровне предложили перебраться из вагона в финский домик. Многие претендовали на домик, и Александра Петровна поняла, что ею дорожат, что ее жизнь приобрела крепкую основательность и надежность.

Как раз вскоре после переезда в финский домик ей временно поручили убирать в конторе. Она все еще переживала счастливые хлопоты новоселья, и ей хотелось, чтобы побольше людей радовалось ее ра-

достью. Пожалуй, никогда она не была так разговорчива и смела и впервые, прибирая кабинет начальника в присутствии самого Печерицы, решилась поговорить с ним. Собственно, она собиралась сказать очень мало: вот, мол, приютили ее, одинокую бабу, брошенную с двумя маленькими детьми, поставили на ноги, помогли лучше некуда, и за это за все — сердечное спасибо.

Около стола начальника, в углу, стояло знамя. Полотнище упало на сейф, и Александра Петровна, искавшая повод для того, чтобы оказаться рядом с Печерицей, подошла к столу, вытащила знамя и свернула его вокруг древка. Решила — момент самый подходящий.

— Товарищ начальник... — начала она, нервно теребя мягкую алую ткань.

— Подожди, подожди! — оборвал ее Печерица, не поднимая огромной своей головы от чертежей. Он нажал кнопку звонка и, едва секретарша открыла дверь, бросил: — Пусть Белов придет.

Белов — главный инженер — сидел рядом, только пройти через комнату секретарши. Он немедленно явился.

— Ты посмотри, что тут проектировщики набуровали, — прохрипел начальник. — Ох уж, мне эти...

И он со смаком стал сыпать матерщиной, словно Александры Петровны совсем не было в кабинете.

Она осторожно поставила в угол зна-

мья — красивое, бархатное, вышитое золотом — и незаметно, потихонечку вышла.

Горький осадок, оставшийся после того случая, начал уже исчезать, когда Александре Петровне как-то пришлось убирать кабинет Печерицы в середине дня. Видимо, только что закончилось совещание, в приемной еще толклись люди. Она слышала, как начальник снабжения убеждал прораба, приехавшего с отдаленного участка:

— И не пытайся! С меня хозяин за горючее каждый день стружку снимает.

«Хозяин» — в конторе так часто звали Печерицу, — беспокойно ерзая за своим столом, слушал инженера по труду Боброву, пухленькую, розовощекую молодую женщину. В общении Боброву поминали недобрыми словами. Говорили, что ее никакой лебедкой не вытащишь из конторы на стройку: зимой боится щеки отморозить, летом — головку припечь, а весной и осенью — туфельки замарать. Она часто переправляла цифры в представленных бригадами и мастерами отчетах, опираясь во всех случаях на один довод: «Это не могло быть».

Сейчас речь шла о том же. Боброва показала Печерице истертые, захватанные, исписанные всевозможными почерками листки и жаловалась:

— А бригадир Рудаков совсем фантастические цифры пишет — перетаскивание рельсов на шестьсот метров. Ну кто поверит, что так разгрузили рельсы?

— Липу пишет Рудаков. Надо срезать.

— Я и срезала. Но вчера ко мне заявлялась чуть не вся бригада, и устроили форменный скандал.

— Кто, кто скандалил-то?

— И сам Рудаков, и Краснов...

— А-а, Краснов! Знаю — блатной, горлопан из горлопанов.

— И этот, как его... Пахомов, и еще рыжий такой...

— Вот-вот, все небось вроде Краснова. Теплая компания. Все легкой жизни ищут, государственные средства растрачивают. Ты им поблажки не давай. Поняла? Это такой народ: палец протяни — всю руку отхватят.

Александра Петровна все стремительнее двигалась по комнате. Возмущение подгоняло ее. Руки сноровисто, сами по себе, делали свое, привычное дело, а в душе кипела обида. И, пожалуй, если бы Печерица, как в прошлый раз, разразился грубой бранью, если бы даже вдруг набросился на нее с руганью, ей не было бы так больно. Хотелось побежать, найти Колю Пахомова, и Ваню Краснова, и Толю Закатова, и Рудакова, и еще кого-то, привести их сюда, поставить перед этим новеньким столом и сказать — нет закричать: «Вот поглядите на них, послушайте их, — разве они такие, как вы говорите? Разве такие?!»

Никому не рассказала она об этих встречах, никогда в подробностях не вспоминала о них. Печерицу она теперь ви-

дела редко и издалека, потому что уборщица конторы снова приступила к работе. Но где-то на сердце лег рубец, и каждое упоминание о начальнике конторы рождало в ней глухое чувство неприязненной настроенности.

* * *

Пузатенький белоголовый будильник отсчитывал время. Рядом с ним росла стопка выглаженных мужских рубашек, маек, трусов. На табуретке — такая же горка. И если бы Александра Петровна задумала вдруг раздать сейчас белье его владельцам, то пришлось бы, пожалуй, обойти чуть ли не всех ребят в общежитии.

Свет беспокоил дочку. Она проснулась, попросила пить, но, не дождавшись, пока мать принесет воды, опять уснула, спрятав взлохмаченную головенку за подушками, у самой стены.

Толина рубашка, особо тщательно выглаженная, лежала отдельно, ждала хозяина. Это его лучшая, праздничная рубашка. Выглаженная самой первой, она все время напоминала о Закатове.

Неужели нельзя было дать дрезину? Не большую, конечно, а маленькую — та пришла бы в самый раз. Ту, на которой начальник ездит, — «Пионерку». Вон Тютиков, шофер дрезины, только что балагурил с девочками на крыльце общежития. Что ему стоило подбросить Толика в Бол-

дыри! Ничего не стряслось бы с дрезиной. А горячее — господи, много ли нужно горячего? Уж осталось бы для Печерицы, не оскудела бы стройка.

Скоро час ночи. Даже на станции затишье. Никаких маневров. На угольном складе кран — уж какой работята! — и тот умолк. И только проходящие поезда нет-нет да проревут, прогрохочут, заставят дрожать землю. И все больше мимо. Почему все мимо, почему без остановки? Здесь же воду набирают, здесь даже паровозы иногда меняются. Почему же сегодня все напроход да напроход? Что за день такой несчастный!

Нет, вот этот, кажется, останавливается. Так и есть. В последний раз лязгнул вагонами, замер. Толик через пути единым махом сюда долетит. Ох, и проголодался, наверное! Сейчас постучит в окно, покажет свое сияющее улыбкой и веснушками лицо.

Давно уgomонились в общежитии. Только в красном уголке кто-то безуспешно пытается поймать по радио музыку. Но приемник, изрядно натерпевшийся на своем веку, видимо, окончательно сдал и теперь лишь пищит время от времени, словно жалуюсь на свою горькую долю.

Ушел поезд — десять минут простоял. Нет Толика. А может быть, он уже в общежитии? Может быть, давным-давно спит? Ну, выдумала тоже! Без ужина, голодный, не ляжет, ни за что не ляжет. А вдруг?.. Надо все-таки проверить.

Только выключила утюг — в сенцах зашаркали чьи-то ноги. Наконец-то!

Кинулась в кухню. Открылась дверь — Капа. Вернулась с дежурства.

— Не видела, Закатов не приехал?

— А пес его знает! Стану я за каждым смотреть!

Александра Петровна надела вязаную кофточку.

— Не запирайся, я скоро.

В коридоре общежития ни души, но из некоторых комнат еще доносится негромкий говор.

Постучала. Послышался голос Пахомова:

— Ну ладно, не дури, Толяшка!

Постучала еще раз. Снова отозвался Пахомов:

— Говорю тебе — брось разыгрывать! Тогда она чуть приоткрыла дверь:

— Это я, Коля.

Пахомов сразу оказался рядом, босой, в одних трусах.

— А я думал, Цветик пришел. Что-то долгонько его нет.

— Так вот и я насчет того же. Может, позвонить, а?

— Куда? В Болдыри?

— Ну да.

— У наших в Болдырях телефона нет. Разве дежурный по станции что скажет... Ладно, я сейчас.

Он мигом натянул брюки, майку, брезентовые туфли — прямо на босые ноги.

— Пошли!

Александра Петровна остановила:

— Ты что, простыть хочешь? Пиджак набрось!

Николай неосторожно сдернул со спинки стула пиджак — стул повалился. Заворочался в кровати Краснов, пробормотал что-то и опять захрапел.

Контора оказалась запертой.

— А черт! — Николай с досадой ткнул ногой дверь. — Я и забыл, что сегодня никто не дежурит. Придется со станции звонить.

В помещении дежурного по станции бессонно потрескивали аппараты управления, подавали голос телефоны, по-разному — то нетерпеливым звонком, то озабоченным гудением, понятным лишь тому, кто нес здесь свою вахту.

Дежурный, моложавый мужчина с густыми бровями, соединился с Болдырями, но там о Закатове ничего сказать не могли. Пахомов позвонил в Вязы. На счастье, дежурный в Вязах хорошо знал всю бригаду Рудакова.

— Как же, видел вашего Цветика, — сообщил он, обрадованный возможностью поболтать в скучную ночную пору. — К вам проехал, проскочил на товарнике, только рыжим чубом мелькнул. Рукой помахал...

— Давно?

— Да уж часа полтора. По-моему, с восемьсот девятым... Ну да, с восемь-

сот девятым. С лесом состав, с крепежом...

— Понятно. Спасибо! — Николай бросил трубку на рычаг.

Все трое с тревожным недоумением смотрели друг на друга.

— Восемьсот девятый у меня проследовал напроход, — припомнил дежурный.

Александра Петровна испуганно вскинула к груди руки.

— Ой, как же это! А вдруг... — И умолкла.

Дежурный шагнул к другому телефонному аппарату.

— Да-а, история... Позвоню стрелочникам, надо как следует посмотреть на путях.

Пахомов схватил Александру Петровну за руку:

— Идем!

Они выбежали на перрон. Николай крикнул:

— Мама Шура, ты — к выходному семафору, а я — к входному! — И уж вслед ей добавил: — За семафором тоже погляди!

Через полчаса, вспотевшие, запыхавшиеся, они снова встретились у дежурного. Поиски ничего не дали.

— Значит, на перегоне соскочил, — высказал предположение дежурный.

— А где? На каком перегоне? — горячился Пахомов, наливая вздрагивающей рукой воду из графина.

— Скорее всего после Вяз, на подъеме, у моста.

— Это где заповедник начинается? Да, пожалуй... Сколько туда? Километра три?

— А ты что, пешком хочешь? Дрезину возьми.

— А ты ее на перегон выпустишь?

Дежурный поглядел на стенные часы и на график, укрепленный под ним.

— Нет, большую сейчас нельзя. Так вы «Пионерку» возьмите у вашего начальника.

Николай чуть задумался, вытирая лицо и шею выбившейся из-под брюк майкой.

— Вот что — ты, мама Шура, беги доставай «Пионерку», а я все-таки пойду пешком.

В поселке ночная тишина. Александра Петровна слышала только поспешное шлепанье своих ног. По желтым стенам финских домиков скользила ее быстрая тень.

Александра Петровна знала, что шофера «Пионерки» надо искать в медпункте — его близость с медицинской сестрой давно перестала быть секретом.

Тютиков, начинающий округляться парень с розовым, упитанным лицом, тронутым молодым пушком, вышел на стук.

— Хозяин послал? — спросил он деловым тоном человека, привычного к неожиданностям.

— Да нет, Толик пропал.

— Как пропал?

— Повез нашим в Болдыри горячее для движка, и вот нет до сих пор.

— Ну и что?

Теперь в голосе Тютикова уже не слышалось прежней спокойной готовности последовать за Александрой Петровной, и она, полагая, что шофер со сна не может ее сразу понять, стала, торопясь, рассказывать о случившемся. Но Тютиков хотел знать лишь одно: кто его вызывает? Если не начальник, не о чем и говорить.

Он смотрел на сапоги мамы Шуры, до самого верха покрытые жирной грязью, и с особенной ясностью ощутил во всем теле еще не остывшее тепло постели.

— Ничего с таким орлом не случится. Спрыгнул где-нибудь, придет. — Тютиков притворно зевнул, сладко потянулся, как бы желая дать понять, что в мире все чудесно и не может быть никаких происшествий. — А насчет дрезины, если хозяин скажет — пожалуйста.

— Да ты что говоришь-то? Выходит, надо Печерицу будить?

— Выходит, надо... А вообще чепуха все. Иди-ка ты спать, вот увидишь — явится твой Закатов, как новенький пятиалтынный.

Медленно закрылась дверь дощатого тамбура, пристроенного к домику, потом скрипнула другая дверь, внутренняя, и снова тишина обступила Александру Петровну.

«Если хозяин скажет — пожалуйста». Хозяин! Почему хозяин? Он что, купил дрезину на собственные деньги, оплачивает Тютикова из своей зарплаты? Хозя-

ин! Откуда взялось оно, слово такое — хозяин?

Впрочем, было не до этих размышлений. Они лишь пронеслись в голове, взмутили тяжелый осадок, оставшийся после встреч с Печерицей. Как же добыть дрезину? К кому обратиться? Кого поднять на ноги?

...Вот и добежала. Самый крайний домик. Стучать надо, кажется, в эту половину. Конечно, в эту. По тому, как чистенько все прибрано около двери, нетрудно догадаться, что Шабанова живет именно здесь. Только дома ли она? На праздник могла и уехать.

Шабанова была дома. Разобравшись, в чем дело, ахнула и побежала за своим пальто.

Около самого домика Шабановой кончился тупичок, временный — шпалы прямо на землю положены. Он построен для вагона, который занимал начальник. Вагон небольшой, двухосный. Но от других сразу отличишь — игрушка!

Печерица жил один. Семья в Ростове, там — квартира, там — настоящий дом.

Шабанова постучала в окно. В вагоне зажегся свет. Потом послышался стук задвижки, и голос Печерицы произнес:

— Эй, кто там? Что случилось?

Огромная фигура Печерицы выросла в дверях вагона. Он был в домашних туфлях, пижамных брюках и кителе, наброшенном на ночную рубашку.

Шабанова говорила, а мама Шура не сводила с нее нетерпеливого взгляда, каждую секунду готовая сорваться с места, чтобы понестись к Тютикову.

— А меня ты что, и не собиралась ставить в известность? — заорал вдруг Печерица. Александра Петровна не сразу сообразила, что он обращается к ней. — Кто тут за вас за всех отвечает? С кого спросят? А? К Шабановой побежала, к Тютикову!

— Так ведь дрезина же нужна! — вскрикнула Александра Петровна, не то оправдываясь, не то призывая Печерицу не терять дорогого времени.

— А я? Я что, не в состоянии дать дрезину? А? Я тебя спрашиваю — не в состоянии?

— Вы?

В ее возгласе слышалось столько искреннего недоверия, что Печерица на мгновение опешил. Если бы сейчас он мог глянуть на себя со стороны, то немало бы изумился, увидев, что его маленькие глазки способны так широко раскрываться.

Какое-то движение, возникшее около одного из вагонов-теплушек, заставило его повернуть голову. Из-под вагона вылезли двое. На их голоса обернулись и женщины. Обернулись и ойкнули, как девчонки: по залитому лунным светом поселку, разговаривая и смеясь, шли Пахомов и прихрамывающий Закатов.



У РОДНОГО ДОМА

Это маленькое происшествие случилось лет семь-восемь тому назад, когда командиры на железнодорожном транспорте еще носили погоны, а звания имели на манер воинских — лейтенантские, полковничьи, генеральские.

Так вот, к вокзалу не очень известного небольшого города, относящегося согласно справочной литературе к разряду городов областного подчинения, прибыл куцего вида местный поезд, составленный из стареньких, разнотипных, двухосных вагончиков. Работник министерства, директор-полковник Юрий Алексеевич Воробьев, спустился на перрон и направился к вокзалу. Перрон быстро заполнялся. Пассажиры торопились; иногда кто-нибудь из них невзначай толкал степенно шагающего Воробьева; он старался не замечать этого, утешаясь мыслью, что мытарства поездки, слава богу, пришли к концу.

А поездка выдалась на редкость скверная. Сначала она как будто и не предвещала ничего худого. Воробьев ехал по личным делам, и это обстоятельство пришлось весьма по душе начальнику отделения. Не расспрашивая о подробностях, он согласился предоставить московскому гостю свой служебный вагон. Впрочем, Юрий Алексеевич все-таки счел нужным объяснить, что поездка его санкционирована начальством, что во время длительной командировки он, так сказать, досрочно справился с заданием и теперь получил два дня в свое личное распоряжение. Слушая его, начальник отделения молча кивал головой, давая таким образом понять, что вопрос ясен. Все, казалось, было утрясено. Но когда Воробьев, уже готовый отправиться в путь, снова зашел к начальнику отделения спросить о вагоне и заодно попрощаться, тот, искренне огорченный, сообщил:

— Не повезло вам. Буферный брус трещину дал. Нажимаю на сменного мастера, чтобы заварил до поезда, но боюсь — не успеет.

Он взял телефонную трубку, назвал номер и некоторое время спустя спросил кого-то:

— Ну как?

Ответ, видимо, был неутешителен.

— Эх вы... — сказал начальник отделения со вздохом. — Товарищ к нам из Москвы приехал, а мы тут... Да что вы

мне про другую смену толкуете? Вагон сейчас, к поезду нужен!..

Он безнадежно махнул рукой и обратился к Воробьеву:

— Придется подождать. С другим поездом уедете.

Директор-полковник насупился.

— Что же у вас за вагонники — с ерундой справиться не могут?

— Смены как раз меняются.

— Так задержите кого нужно.

Начальник отделения поглядел на зажатую в руке телефонную трубку, подумав немного, поднес ее было ко рту, но затем, ничего не сказав, решительно положил на рычаг.

— Если задерживать, — сказал он, стараясь не встречаться со взглядом Воробьева, — так одного сменного мастера. Этот все сам бы сделал. Золотые руки. Да живет он за городом, на тот же, что и вы, поезд спешит.

— Ради такого случая мог бы и не спешить.

Юрий Алексеевич сухо попрощался и направился к двери.

— Лучше подождали бы, — услышал он вслед. — Поезд этот у нас того... неважный.

— Нет уж, благодарю, — отрезал Юрий Алексеевич, берясь за дверную ручку.

Поезд оказался действительно «того»... В маленьком, полутемном вагоне было душно. Воробьев, втиснутый в самый угол

скамейки, чувствовал себя связанным по рукам и ногам. А одна тетушка в ватнике, с мешком, пропахшим рыбой, пробралась в проход между скамьями и едва не взгромозилась Юрию Алексеевичу на колени.

Напротив, у самого окна, сидел мужчина средних лет, в брезентовом плаще и старой форменной фуражке железнодорожника. Первое время он молчал, внимательно поглядывая то в окно, то на Воробьева, и постукивал коротеньким мундштуком по стеклу. Юрию Алексеевичу все не понравилось в соседе — его лицо с крупными, резкими чертами, его прямой, изучающий взгляд и даже это постукивание, в котором слышалась какая-то подчеркнутая независимость.

Мужчина в плаще молчал недолго.

— Я так думаю, товарищ директор-полковник, — сказал он, — что хуже нашего экспресса на сети нет.

— М-да-а... тесно, — выдавил из себя Воробьев.

— А между прочим, — продолжал сосед, — он доставляет рабочих в город и обратно. Хотя и местный поезд, а концы не маленькие. Человеку в дороге отдохнуть надо, а тут — сами видите.

Он повел по вагону взглядом и отвернулся к окну. Пассажиры выжидательно посматривали на Воробьева. Требовалось что-то сказать, а что именно — Юрий Алексеевич никак не находил. «Черт знает, что

за глупое положение, — думал он. — Вяжешься в эти пассажирские дела, а потом хлопот не оберешься».

Пауза затягивалась, и чтобы хоть как-нибудь сгладить неловкость, Воробьев откашлялся и сказал хриплым, каким-то не своим голосом:

— Ничего, разберутся...

Мужчина в плаще резко повернулся:

— А сами вы не имеете желания разобратся?

Воробьев вспыхнул:

— Ну, знаете ли!..

Сосед не сводил с него прямого, колючего взгляда.

— Что «знаете ли»?..

Юрий Алексеевич почувствовал, что на лбу у него выступила испарина. Его так и подмывало осадить этого человека, но он по опыту знал, что таких заносчивых, въедливых мужичков лучше не трогать. Выразив свое возмущение громким вздохом, Воробьев отвернулся к окну.

— Надо было мне все-таки задержать-ся после смены, — услышал он все тот же голос, — заварить брус, подготовить для вас вагончик. Видите, как с нами ездить, — ни с того ни с сего на неприятный разговор нарвались. Уж извините, пожалуйста!

Некоторое время Юрий Алексеевич оторопело смотрел на человека в плаще. «Так вот каков он, сменный мастер! Хорош гусь, ничего не скажешь!..» И не

раздражение, не гнев, а самое настоящее бешенство овладело им.

— Это вы что же, нарочно подстроили? — прошипел он.

Сосед удивленно вскинул мохнатые брови. Дольше оставаться здесь Воробьев не мог. Призвав на помощь все свое самообладание, он поднялся и вышел из вагона.

Остальную часть пути Юрий Алексеевич провел в тамбуре. О крышу и двери барабанил дождь, холодный осенний ветер проникал в щели. Какой нелепостью казалась теперь Воробьеву его поездка! Хотя бы за делом ехал, а то ведь блажь одна. Оказался во время командировки неподалеку от города, в котором вырос, и вот захотелось посетить родные пенаты. А зачем? Смысл какой? Родных там не осталось, друзья юности растеряны. Сентиментальность вдруг одолела. Это под сорок-то лет!

Настроение не поправлялось даже теперь, когда Воробьев пересек перрон и вышел на маленькую привокзальную площадь родного города. Вокруг все выглядело блеклым и серым от дождя, который, видимо, лил здесь несколько дней кряду и только сейчас перестал. Однако низко осевшее, свинцовое небо не предвещало ничего хорошего.

Станция располагалась около высокой горы. Выше станции, вторым ярусом, вытянулась улица. На нее и поднялся Во-

робьев по широкой деревянной лестнице. Отсюда открывался почти весь этот окраинный район города — станционные пути, подковой огибающая их река и сбегаящие к ней по обе стороны станции пестрые трех-четырёхоконные домики.

Здесь многое изменилось — что-то возникло вновь, что-то исчезло. Но перемены не показались Воробьеву неожиданными, словно он знал, что они должны быть именно такими.

Нет, встреча с родными местами не принесла радости. То ли сказывалось скверное настроение, то ли влияла мерзкая погода...

Но раз уж приехал, надо что-то делать. Сначала следует поклониться дому, в котором родился и провел первые двадцать лет жизни. Вон он, виднеется около самой железной дороги, там, где она делает поворот к мосту. Примерно с километр от вокзала. Можно идти по железной дороге, а можно и улицами. Второй путь осенью хуже: чтобы подойти к дому, приходилось пересекать пустырь и шлепать по грязи. Вряд ли дорога там стала лучше, хотя по всему видно, что пустырь сейчас перепахан под огороды. Нет, надо пойти через станцию, по путям.

Воробьев поднял воротник плаща, засунул руки поглубже в карманы, но перед тем, как спуститься вниз, к вокзалу, еще раз глянул в сторону дома. А ведь случилось, что даже в осеннее ненастье он

ходил домой только пустырем. Ходил не один, а с соседкой. Она работала нормировщицей в вагонном депо, а он — бригадиром на ремонте путей. Звали ее Нюра. Когда она произносила свое имя, ее носик по-смешному морщился. Целые вечера они простаивали около тех четырех лип, что и сейчас упрямо высятся у дороги, ведущей к дому. Ни дождь, ни грязь, ни холод — ничто не мешало. За вечер ноги заоченеют, спина так намерзнется, что ее ломить начинает, а все-таки на другой день все повторялось заново.

Любопытно, как сложилась у нее жизнь? На первом курсе института он еще писал ей письма, а потом пришли другие увлечения...

Воробьев зябко повел плечами, крикнул и стал быстро спускаться назад к станции.

Юрий Алексеевич шагал быстро. Он умел ходить по железнодорожным путям. Высокий, статный, он делал крупные шаги и каждый раз перемахивал через одну шпалу.

Вот и дом. Как и тогда, он выкрашен в деловой коричневый цвет и по внешнему виду скорее напоминает какую-нибудь контору, чем жилое помещение. Его всегда звали почему-то общежитием, хотя в нем жили семейные железнодорожники.

Фасадом он обращен к невысокой железнодорожной насыпи. Воробьев приближался как раз к тому концу его, в кото-

ром располагалась их квартира. У крыльца, ведущего в дом, кажется, поубавилось ступенек. Конечно, поубавилось. Дом хоть и выглядит еще добротно, а стал чуть пониже.

А вот два окна их комнаты. Наличники тогда были старенькие, потрескавшиеся. У окна, что поближе к крыльцу, нижний наличник коробился и отставал от стены. Мальчишкой Воробьев ловко цеплялся за него, когда хотел забраться домой через окно.

Нарядные тюлевые шторы закрывают окна изнутри. Кто живет там? Какую семью обогревает очаг, который Воробьев покинул восемнадцать лет назад?

На крыльцо вышла женщина в сапожках и вязаной кофте. Она сноровисто поправила цветной платок на голове, взяла стоящую около дверей пилу и, быстро спустившись с крыльца, направилась к сараю. Что-то знакомое было в ее легкой походке, и Воробьева охватило волнение. Только теперь, при виде этой встревожившей его память женщины, он вдруг осознал всю значительность встречи с родным домом. Еще раз, теперь с жадностью, оглядел он дорогие окна, весь дом, все, что было вокруг него, и, словно помолодев, торопливо спустился с насыпи.

Женщина скрылась в сарае. Воробьев, задержавшийся неподалеку от него, услышал, как она обратилась к кому-то с мягким упреком;

— Зачем такую махину положил? Вон той жердочки хватило бы.

— Ничего-о, — протянул в ответ мужской голос, который заставил Воробьева вздрогнуть.

— Устал? — спросила женщина.

— Ничего-о, — снова протянул мужчина. — Сегодня последний раз в ночь отработал. С понедельника — в первую смену.

Теперь Юрий Алексеевич уже не сомневался, кому принадлежал этот голос, — судьба снова столкнула его со сменным мастером.

Пила уверенно запела свою звонкую песню. Чувствовалось, что пильщики отлично применились друг к другу. Так споро работают люди, прошедшие дружно, локоть к локтю, большой, многолетний путь.

Пила умолкла. Раздался легкий треск, и чурак свалился на землю.

— Ну как, хорошо берет? — спросила женщина.

— Молодец, Нюша. Сам бы так не натачил, — последовал ответ.

Нюша — это значит Нюра. Юрию Алексеевичу показалось, что голос ее ничуть не изменился с тех давних времен, да и вся она осталась прежней.

Но что это? О чем они говорят?.. Воробьев напряг слух.

— Куда же полковник из вагона-то удрал? — спросила Нюра.

— В тамбур ретировался,

Женщина рассмеялась.

— Ох, и задира же ты! Довел человека до белого каления. А если он в самом деле к пассажирскому движению никакого отношения не имеет?

— Ну и что же? Какой ты ни есть начальник, с человеком поговори. Выслушай, порасспроси да подумай, чем помочь можешь. Высокий чин не за одну образованность дается. Чин высок, а душа должна быть еще выше. А этот не для людей — для себя служит.

— погоди! А если он не пассажирский работник, что же он сделать может?

— Эх, Ньюша, не все ли равно, пассажирский или непассажирский! Из самого министерства человек приехал, из Москвы! Его должно все касаться. Нельзя ему к безобразиям равнодушным быть. Подло это... Подло!

— Ну-ну, не надо, не распаляйся зря...

Не разбирая дороги, Воробьев почти бежал от сарая сначала по вспаханым огородным грядам, потом через какой-то низкорослый кустарник, потом по мокрой бурой траве. Вслед ему снова запела сталь. Когда он взобрался на железнодорожную насыпь, пила зазвучала вдруг с особой отчетливостью. Звон ее гнал его прочь, и, сбиваясь с шага, борясь с одышкой, Воробьев уходил все дальше и дальше от родного дома.

На душе было мерзко. Очень хотелось

снова обидеться, сильно, жгуче, на мужа Нюры, на его слова. Но обида терялась в мутной смеси чувств — досады, раздражения, недовольства собой, своей нелепой поездкой и всем светом.

Заморосил дождь. Надо поскорее добраться до станции. Кажется, сейчас должен прийти дальний поезд, в котором есть мягкий вагон. Заказать проводнику стакан крепкого чая, отогреться, забыться в уютном, теплом купе. Или сразу же пойти в вагон-ресторан, потребовать что-нибудь такое — прямо со сковородки, чтобы шипело и дышало жаром. Главное — скорее побороть свое мерзкое состояние.

Поезда почти не пришлось ждать. Пропуская Воробьева, проводник сделал под козырек.

В купе Юрий Алексеевич никого не застал, но вешалки оказались занятыми. Сняв плащ, Воробьев положил его на верхнюю полку. Устало опустившись на сиденье, он оглядел купе, и вдруг на глаза его попался маленький предмет, прицепившийся около заднего разреза плаща. Юрий Алексеевич не любил беспорядков в своем костюме. Он потянул к себе плащ, и в руке у него оказался бурый, сморщенный бутончик репья.

...Репей. Забавное растение. Сколько радости доставляет оно ребятишкам! В памяти мелькнули картины детства — пустырь, на котором шли горячие сражения, и бутончики репья служили отличными

снарядами; крыльцо дома, превращенное в броненосец, и грозный капитан его, увешанный орденами, которые изображал все тот же репей...

Воспоминания сменяли друг друга. Снова встали перед глазами четыре высокие липы, и Нюра, и сам он, путейский рабочий Юрий Воробьев.

Он неважно одевался тогда. Ни плаща, ни осеннего пальто; серый в полоску костюм из бумажной ткани выручал до самых заморозков. Костюм плохо грел, но это обстоятельство нисколько не тревожило. Возмущало другое — проклятый пиджак, как его ни отутюживай, очень быстро терял аккуратный вид. Полы в самом низу начинали пузыриться, а лацканы — заворачиваться и морщиться. Зато с брюками все обходилось проще. С вечера они расстилались на досках койки, под матрацем, и таким образом за ночь недурно отглаживались.

Туфли он покупал с брезентовым верхом. Но, густо намазанные черным гуталином и энергично отдраенные, они издавали такое сияние, что совсем не отличались от кожаных.

А в общем что говорить — неважной была аммуниция, не очень-то сытой жизнь. Но зато была юность. Юность! Жаркие мечты, бьющая через край, вечно свежая энергия и азарт во всем, за что бы ни брался, что бы ни замышлял.

Кажется, вот в такой же, как сейчас,

дождливый, беспутный день он провожал Нюру после комсомольского субботника, дружного, шумного, словно грачиный грай. Они высаживали сквер тут, недалеко, в стороне от вокзала, между путями и откосом горы. Нынче деревья уже вымахнули выше телеграфных столбов, а тогда привезли из питомника тощенькие, поникшие саженцы; казалось, им и на ветруто не устоять.

Субботник кончился поздно вечером. Нарботались, нагалделись, напелись песен. У Нюры даже голос пропал, и она могла только беззвучно смеяться.

Они шлепали вдвоем в темноте по грязи, прыгали через лужи, а он говорил о фонтане, который решено соорудить в сквере, о цветочных клумбах, о фонарях — белых, круглых, на красивых металлических мачтах, совсем как в областном центре, — и еще о многом другом, что не терпелось сделать на радость родному городу, своим согражданам и вообще на радость всем живущим на земле. Как горячо он говорил! И, наверное, был хорош собой, несмотря на помятый бумажный костюм и брезентовые туфли...

Юрий Алексеевич повернулся к двери купе, в которую было вставлено зеркало, оглядел себя, и в воспоминания его вдруг врезался звон пилы, звук падающего чурака и жесткий мужской голос:

«А этот не для людей — для себя служит...»

Зеркало поползло в сторону — дверь купе с грохотом отворилась. Будущие соседи Воробьева по купе поздоровались с ним, дополняя свои приветствия разными шутивными замечаниями, и принялись складывать на столик снедь, купленную на привокзальном базарчике. Юрий Алексеевич заставил себя улыбнуться попутчикам, но, испытывая острую потребность остаться наедине с собой, вышел в коридор.

Поезд тронулся. Вот он застучал колесами на последней станционной стрелке. Еще мгновение — и стали видны четыре липы, одиноко плывущие по черной вспаханной земле. Воробьев припал к окну...

Отгремел мост. Поезд сбежал с высокой насыпи и помчался лесом, а перед глазами Воробьева все еще стоял бесконечно знакомый и дорогой дом у железнодорожного полотна. Было тоскливо и больно оттого, что так скверно сложилась эта встреча. Подумалось: выпрыгнуть бы сейчас из вагона и заново повторить ее. Почему-то особенно хотелось увидеть Нюру и ее мужа, увидеть, чтобы убедить их, что случилась возмутительная ошибка, что он, директор-полковник Юрий Алексеевич Воробьев, совсем не таков, каким они его себе представляют, что...

А поезд неумолимо набирал ход.

НОЧНОЙ ЗВОНОК



Никита Иванович Гирин проснулся от того, что ему стало неуютно душно. Солнце смотрело прямо в окна гостиницы, и хотя наступал вечер, жары в номере прибавилось.

Распаренный, вспотевший, Гирин вытирал полотенцем шею и с сожалением смотрел на измятые брюки. Скажи пожалуйста, как некстати уснул! Теперь, хочешь не хочешь, надо менять костюм.

Никита Иванович пришел в гостиницу в середине дня. Освободился рано, потому что начальник главка пообещал принять только завтра. Правда, дела нашлись бы, но Гирин неважно себя почувствовал, и директор, охотно отпустив его восвояси, один отправился в плавание по многочисленным коридорам и кабинетам министерства.

В последнее время с Гириным частенько случалось так — появляется расслабленность во всем теле и не то давление,

не то боль в сердце. А возможно, и не в самом сердце, возможно, где-то около него. Врачи сказали — сердечная недостаточность. Что сие значит — сердцу ли чего-то недостает, в самом ли сердце что-то не в порядке, — не поймешь. Туманно, неопределенно. А все ж настораживает, заставляет усиленно прислушиваться к себе.

Явившись в гостиницу, Гири́н собрался пообедать, но ресторан оказался переполнен. Тогда он поднялся в номер, рассчитывая переждать „пиковый“ обеденный час, прилег отдохнуть — и вот проспал до вечера.

Во рту было вязко, гадко, есть уже не хотелось. Изморо́нный духотой, Гири́н чувствовал себя хуже, чем утром. Он прислушался к сердцу, и ему показалось, что там опять улавливаются какие-то болевые ощущения.

Лежать тоже не хотелось. Гири́н вспомнил о списке покупок, который сунула ему жена перед отъездом: Следовало бы, пожалуй, побродить по магазинам — время позволяло. Но, едва подумав об этом, он поспешил заверить себя, что сейчас ничего подходящего уже не найдешь — днем все распродано. Да и нездоровится, какие уж там магазины!

Размышления о покупках вызвали в Гири́не неприятную обеспокоенность. На душе стало вдруг слякотно, как после какой-то скверной истории. Никита Ивано-

вич не сразу мог понять, в чём дело, и, лишь снова вернувшись мыслями к списку, который вручила жена, вспомнил о случившейся дома размолвке.

Собственно, из-за этого он и уехал, вернее — просто-напросто удрал в командировку. Директор завода вполне мог бы ехать один, без него, главного технолога. Но Гирин ухватился за поездку как за единственную возможность избежать ненужных, на его взгляд, объяснений с женой. Он не считал себя виноватым, не хотел трепать нервы в препирательстве и взаимных упреках и верил, что в его отсутствие время само все исправит.

Ему вспомнился тот недавний злополучный вечер, когда он, несмотря на свое обещание, не пошел на родительское собрание в школу. Конечно, он знал, что жена не одобрит его. Кажется, он даже допускал мысль, что она раскипятится, устроит головомойку — ему это не в новинку, — но потом, как обычно, быстро остывает и все пойдет по-прежнему, по-хорошему.

Случилось иначе, совсем иначе. Застав его дома, жена не удивилась, словно заранее предполагала, что он не выполнит обещание, не вспылила, не разбушевалась. Она посмотрела на него долгим, оценивающим взглядом — непонятым, неожиданным взглядом постороннего, чужого человека — и молча удалилась на кухню готовить их обычный поздний ужин.

С этого момента она разговаривала с ним лишь при самой крайней необходимости. Но даже в тех редких случаях, когда жена разговаривала с ним, он видел, что она делала над собой усилие.

Как ни старался Никита Иванович не обращать внимания на эту перемену, он с каждым днем болезненнее ощущал, что дом утрачивает свое тепло, свой уют. Казалось, все изменилось: стены, мебель, каждая привычная, прижившаяся бездельушка смотрели на Гирина настороженно и отчужденно.

Сейчас, когда Никите Ивановичу свежо вспомнилось, каким потерянным, униженным он почувствовал себя, в нем с особенной силой заговорил протест против нелепого, до дикости неоправданного поведения жены. За все дни их размолвки Гирин никогда еще так твердо не верил в свою невиновность. Ну что за беда — пропустил родительское собрание! Он же отлично знал тогда и знает сейчас, что жалоб на его детей не могло быть. Ребята учатся и ведут себя прекрасно. Значит, оставалось выслушать похвалы. Удовольствие, конечно. Но если он лишил себя его, так почему же надо возводить это в степень преступления, почему надо отравлять ему существование?

Гирина представилось, что и вся его жизнь сложилась плохо, что он упустил какие-то возможности, которых не упустили другие, и потому у других жизнь

идет красиво, без глупых семейных сцен, без пошлой семейной прозы. А кто виноват? Только жена. Вздорный, эгоистичный человек!

Никита Иванович опять вытер свое широкое, крупное лицо и полную шею, вспотевшие на этот раз, видимо, от волнения, оглядел себя, и досада и возмущение его усилились. Казалось, жена была виновата и в том, что костюм его измят, и в том, что в номере душно, и в том, что он уснул.

Чтобы отделаться от своих тяжелых мыслей, от своего скверного настроения, он решил поскорее уйти из номера. Куда? Видно будет. В конце концов, Москва — это Москва. Есть здесь кое-что поинтереснее прилавков.

Сосед, проживший в гостинице почти месяц, устроился совсем по-домашнему, и Гирин нашел в ящике шифоньерки целый набор разных щеток. Гирин развернул обувную, и вдруг на испачканном, измятом газетном листе бросилось в глаза объявление. В квадратной жирной рамке приметным черным шрифтом полностью обозначалось название института, того самого института, который окончил Никита Иванович. Он прочел, что институт приглашал своих воспитанников на традиционную встречу в студенческий клуб.

Нет, случаются же такие совпадения — вечер состоится сегодня!

В воображении Гирина встало щедро остекленное здание институтского клуба

с его прямыми, строгими линиями темно-серых стен, а по соседству с ним — студенческое общежитие такого же делового серого цвета, кубообразное, кажется четырехэтажное. Нет, очевидно, оно не могло бы так господствовать над всем кварталом. А что помещалось в этом квартале еще? По одну сторону общежития — клуб. А по другую? Там строилось что-то... Нет, притулился гараж, скромненький, уютный гараж, какого-то небольшого учреждения... Нет, наверное, гараж стоял дальше. А между ним и общежитием тянулся деревянный забор, длинный-длинный; впрочем, длинным он казался, очевидно, потому, что по утрам, перед лекцией, вечно приходилось попадать в цейтнот и влетать в институт под самый звонок. И еще там примостился бакалейный ларек. В ларьке обязательно продавалась халва. Что за прелесть — халва с белой булочкой и стакан кипятку!

О, как настойчиво, как призывно окликнуло Гирина все это, далекое и близкое, забытое и незабытое! Даже сердце чуть сжалось от волнения, а в памяти, набегая одна на другую, сменялись картины давнего прошлого.

* * *

Гирин рано приехал в клуб, но несколько не пожалел, что поторопился. Он с удовольствием бродил один по залам —

просторным, молчаливым, полным какой-то особенной, нетронутой прохлады, — поднимался с этажа на этаж, узнавал каждый поворот, каждую колонну, каждое окно. И казалось странным, что прошлое вот так просто и дерзко шагнуло из своей дальней дали в сегодняшний день — живое, цельное, доступное.

Никита Иванович остановился на лестничной площадке, с которой хорошо просматривался танцевальный зал. Вспомнилось, каким, в сущности, чужаковатым парнем был он в институте. Спускаясь по этой же лестнице после киносеанса или концерта, он окидывал торопливым взглядом зал, колышимые музыкой пары и, люто завидуя в душе, силился изобразить на лице выражение безразличия.

Когда девушки спрашивали его, почему он не учится танцам, Никита, лицемеря самым бессовестным образом, уверял, что не видит в них никакого удовольствия. И кажется, ему верили, потому что на курсе его знали как большого поклонника серьезной музыки, организатора и энтузиаста клубных музыкальных вечеров, за-всегдашая концертных залов Консерватории. Но именно потому, что он любил музыку, Гири́н не мог не представлять себе, какую окрыляющую радость способно доставить человеку умение хорошо танцевать.

Теперь Никита Иванович понимал, что застенчивость его порождалась несколько

повышенным мальчишеским самолюбием. Он слишком боялся выглядеть смешным. А другие не боялись и вообще не думали об этом. Только на последнем курсе Гирин выучился у приятелей самым элементарным па.

Но застенчивость застенчивостью, а в общем-то он был весьма горячим, экспансивным парнем. И на жизнь свою, чертовски богатую впечатлениями, он никак не мог пожаловаться.

Конечно, он влюблялся, по крайней мере дважды на каждом курсе. Но, кажется, чаще он даже не решался познакомиться с той, по ком начинало страдать его обильнолюбивое сердце.

Но, пожалуй, особенно прочный плацдарм в этом сердце отвоевала Вера Чижевская. До последнего своего институтского дня при встречах с ней Никита, как безнадежно больной, испытывал приступы лихорадки. Бывало, шел он по этим вот серым, стертым на углах каменным ступеням клубной лестницы и замечал где-нибудь внизу светлый стожок Вериных волос, широко, свободно опустившийся на худенькие плечи. Тогда забывалось все, что жило, двигалось, бурлило вокруг, оставались только ее пышные волосы, ее узенькие плечи да бешеный стук собственного сердца.

Она заметно отличалась от подруг: очень тоненькая, очень худенькая — совсем подросток. Лицо ее, мягко, как у

ребенка, очерченное, было скупой прихвачено румянцем. Но бледность не создавала впечатления болезненности. Наоборот, она делала лицо особенно привлекательным, трогательно хрупким. Вера умела придать своим большим, чуть-чуть навывкате глазам выражение какой-то детской, восторженной наивности и оттого становилась еще более юной.

Друзья звали ее Чижиком, из-за фамилии — Чижевская.

Однажды он отважился пригласить ее в филиал Большого на «Демона», зимой, кажется, в канун Нового года. Прежде чем купить билеты, ему пришлось здорово померзнуть в очереди на Театральной площади.

И вот зал театра. Когда под нестройное звучание скрипок, пробующих голоса перед увертюрой, рука Гирина опустилась на пурпурный подлокотник рядом с рукой Веры, он потерял способность отчетливо воспринимать происходящее вокруг. Для него не существовало ничего, кроме ее обнаженной до локтя руки, маленькой, легкой и прохладной. Если их руки касались одна другой, он, ликуя счастливо, страшился, что она уберет свою руку, если она убирала ее, он, терпя почти физическую боль, жил сладким ожиданием того момента, когда ее рука снова будет близко. Спектакль пролетел как в полусне — обрывочными, бессвязными картинками.

В другой раз он пригласил ее на каток, пригласил заранее, еще днем. Но к вечеру, когда они договорились встретиться, разыгралась метель. Он ждал Веру у входа в парк, и прохожие не скрывали добродушных усмешек при виде его облепленной снегом фигуры, одиноко торчащей под фонарем. А Вера все-таки пришла, и они, наперекор всему, купили билеты. Втянув голову в плечи и зажмурив глаза, они двигались по аллее парка навстречу ветру, снегу и потоку людей, спешно покидавших каток. «Безумцы, куда вас несет?!» — то и дело слышали они и лишь смеялись в ответ.

Но их выпало очень мало, таких вот ослепительно счастливых, быстролетных вечеров. Вскоре Вера странно переменялась к Гирину. Кто знает, отчего это произошло. В юности чувства не любят прямых линий — все причудливо и непонятно, как морозные узоры на стекле.

...А клубные залы все сильнее захлестывал людской говор. Выпускники института съезжались на свою вечеринку, свою семейную встречу.

Съезжались крупные хозяйственники, видные специалисты — многоопытные зубры, для которых студенческие годы стали так же далеки, как туманная пора детства. Съезжались рядовые инженеры, мастера, бригадиры — зеленая молодежь, птенцы, едва вылетевшие из институтского гнезда, но уже испытывавшие крепость своего опе-

рения на холодных и жарких ветрах жизни. Пожалуй, ни в один дом не входили они — юные и пожилые, отцы и дети — с такой веселой уверенностью, таким твердым и легким шагом. За порогом оставались годы, чины, отдышка, личные трагедии, служебные неудачи. Жизнь сделала чудесный оборот назад — и снова институт.

Пока Гири́н не столкнулся ни с одним из своих товарищей. Его не удивляло это — весь их курс сразу после защиты дипломов призвали в армию. А потом грянула война. Многие не вернулись, а тех, что остались в живых, разметало по всей стране.

Однако становилось уже как-то неловко бродить одному, когда кругом собирались компании, слышались шумные приветствия и приподнятое настроение людей создавало насыщенную, заразительную атмосферу общей праздничности. Даже в фойе, оборудованном под буфет и сверкающем белоснежными квадратами столиков, начали просачиваться оживленные группы мужчин. Никита Иванович решил тоже свернуть туда, выпить бутылку пива — все какое-то занятие, — как вдруг ему показалось, что в другом конце зала мелькнуло лицо однокурсника Виктора Бобровского. Гири́н поспешил туда. Он вытягивал шею, даже приподнимался на носки, но Бобровский не обнаруживался. Решив, что ошибся, Гири́н повернул назад и в этот момент увидел Веру.

Собственно, он увидел сразу и Бобровского и Веру — они стояли рядом. Но его интерес к однокурснику мгновенно отступил на задний план.

Еще в то время, когда Гирин бродил по пустым залам клуба, ему подумалось, что он может встретить ее сегодня. Трудно сказать, чем была навеяна эта надежда, похожая на уверенность, но, увидев Веру, он не изумился, словно случилась вполне обычная, заранее предусмотренная встреча.

Вера и Бобровский стояли у окна. Возле них высилась старая, мохнатая пальма, и суховатая темно-зеленая ветвь ее почти касалась белокурых Вериних волос. Не такие длинные и пышные, как тогда, но все же приметные, они спадали густым, волнистым потоком к воротничку тонкой бледно-сиреневой кофточки.

Конечно, Вера сильно переменилась, не прежняя худенькая, подвижная девочка. Она стала более видной и даже чуть-чуть более высокой. И все-таки в облике ее сохранилась прежняя, необыкновенная женственность, какая-то беззащитно-хрупкая и вместе с тем покоряющая нежность. И та же кроткая, трогательная бледность лица, та же мягкость его линий.

Бобровский, элегантный брюнет, теперь носил очки, дорогие, с золотым ободком. Кажется, в его густых волосах начала пробиваться седина. Пожалуй, он постарел сильнее, чем Вера. Но ведь она

годами моложе его: когда Бобровский и Гири́н уже защищали дипломы, Вера только еще сдавала экзамены за второй курс.

Студентами Гири́н и Бобровский никогда не сходились близко. Учились хотя и на одном курсе, но в разных группах. К тому же Виктор был коренным москвичом со своим кругом старых знакомств, а Никита жил в общежитии и там завел самые прочные дружеские связи.

Впрочем, Бобровский завидно прославился в институте. Он отлично учился, и его портрет почти все время висел на Доске почета. Известности прибавляли его победы на шахматных турнирах — года два или три он удерживал звание чемпиона института.

Теперь Бобровский — сотрудник научно-исследовательского института. Гири́н частенько встречал его статьи в газетах и технических журналах. Обычно он писал об организации производства на передовых предприятиях или же о прогрессивных методах труда знатных рабочих. Фамилия Виктора значилась среди авторов учебников. Несколько брошюр он написал самостоятельно. Эти успехи и примечательное институтское прошлое заставляли Гири́на с уважением и даже некоторой робостью смотреть на своего одаренного однокурсника.

Почему они вместе? Женаты? Очевидно, да.

Он без удивления и грусти отметил, что сейчас способен невозмутимо наблюдать за Верой, рассуждать о ее замужестве как посторонний человек, а в душе даже посмеивался над прежними своими охами и вздохами. И, отметив все это, он твердо направился к окну.

* * *

— Гирин! Вот неожиданности!

Бобровский протянул руку, и Никита Иванович принялся энергично трясти ее. Мельком глянув на Веру, он увидел, что на лице ее вспыхнуло радостное изумление.

— Разве ты в Москве? — спросил Виктор, первым прекратив церемонию приветствия. Освободив руку, он привычными, автоматическими движениями поправил пиджак и галстук.

— Как видишь, в данный момент — да.

— А постоянно где?

— Постоянно — далеко, на Урале, в Перми. Зови меня пермяк — соленые уши. Всех пермяков так на Урале зовут. А почему — никто не знает.

— В командировке?

— Ага. С корабля на бал...

Он собрался подробнее рассказать, каким удивительным образом узнал о вестере, но Бобровский обратился к Вере:

— Ты знакома?

Она помедлила с ответом.

— ...Да... встречались...

— Моя супруга, прошу любить и жаловать, — снова обратился Бобровский к Гирину.

— Очень приятно. Поздравляю! — Никита Иванович взял протянутую ему маленькую, горячую руку и не очень ловко, но смело поцеловал ее.

— Ну, брат, тебя не узнать! — рассмеялся Бобровский. — Такой был застенчивый мальчик. А сейчас — мужчина хоть куда. Женат?

— Станный вопрос.

— И дети есть?

— Двое растут. Коренные уральцы. Один уже во вторую ступень перевалил, а другой осенью во второй класс потопает. Такие пистолеты — ай да ну!

— Ай да ну! — повторила Вера улыбаясь. — Это у вас уже уральское.

— А я и не замечаю. Конечно. Еще у нас говорят: «Я те дам!» Тоже когда хотят восторг выразить. Ну, к примеру: «Ох и парни у нас на Урале — я те дам!»

Вера снова беззвучно рассмеялась. Держалась она просто, ровно, со спокойным достоинством женщины, уже немало прожившей и немало повидавшей всяких людей. Трудно сказать, прошло само или было насильно погашено ею то непосредственное, радостное, что так ярко и молодое вспыхнуло в ней в первое мгновение встречи. Она сделалась старше. Четко

проступили складки лба, и даже стала заметна мелкая изморозь морщинок около глаз.

Она смотрела на Гирина с какой-то доброй, материнской грустью. И эта приветливая мягкость очень шла светлой, влажной голубизне ее глаз.

Виктор продолжал расспрашивать Гирину, предпочитая умалчивать о себе. Никита Иванович узнал лишь, что у Бобровских есть сын, тоже школьник, что Вера работает инженером в аппарате министерства.

Впрочем, Никита Иванович, обычно не очень многословный, сейчас охотно говорил сам и вообще старался выглядеть живым, веселым человеком.

Внезапно Бобровский прервал его.

— Смотри, кто приехал! — значительно сказал он, глядя в какую-то дальнюю точку зала.

Гирин тоже обернулся в зал и увидел Радимова, ответственного работника Совета Министров, бывшего директора сибирского завода-гиганта. На лице Радимова, полнокровном, в крупных, энергичных складках, было написано какое-то особенное выражение напускной свирепости. Так взрослые пугают детей, отлично, впрочем, зная, что дети не испугаются. Бросались в глаза его постриженные ежиком волосы цвета спелой пшеницы.

На заводе, которым когда-то руководил Радимов, Никита Иванович начинал свой

путь мастером в цехе. Он много наслышался тогда о директоре. Радимов обладал невероятной работоспособностью. Шутники утверждали, что в трубке, которую он редко вынимал изо рта, заложен тайный эликсир, чудесно восстанавливающий силы человека.

Несколько грузный, не очень подвижный, директор не часто покидал свой кабинет, но от тех, кто приходил к нему, умел взять все, что нужно, и в свою очередь все, что нужно, давал им. Закончив какое-нибудь дело, он обычно с удовлетворением произносил: «Так-с, хорошо, хорошо!» Затем следовала пауза, после которой обязательно добавлялось: «А что ж хорошего?» И, решив, что хорошего пока еще недостаточно, Радимов брался за следующее дело. Так трудился он с утра до поздней ночи, насквозь прокуренный, неторопливый, невозмутимый, похожий на великолепную, умную, добрую машину, которой никогда не будет износа.

Никите Ивановичу довелось очень мало поработать под началом Радимова — вскоре директора перевели в Москву. Но рассказы о нем, как легенда, жили да, наверное, и сейчас еще живут на заводе.

— Мне необходимо поговорить с ним, — сказал Бобровский, ни к кому не обращаясь. Он поспешно обдумывал что-то. — Постой! — Виктор схватил Никиту Ивановича за локоть. — Ты же сказал, что работал в Сибири. Не у Радимова ли?

— Пришлось немного...

— Значит, знаешь его, знаком с ним?

— Ну, какое там знакомство! Приглашали меня раза два к нему в кабинет, на совещания.

— Значит, все-таки знаком? — Бобровский сжал однокурснику руку. — Пойдем к нему.

— Ты что, шутишь?

— Необходимо, понимаешь! До зарезу! Но Гирин оставался непреклонен:

— Не проси! Ни за что на свете не пойду. Извини, не хочу нахалом выглядеть.

Бобровский кольнул однокурсника раздосадованным взглядом и замолчал. Радимов приближался. Он то и дело отвечал на приветствия, но шел пока один.

— Я сейчас, — бросил Виктор жене и решительно направился навстречу Радимову. Красивое лицо его было в этот момент полно большой внутренней силы.

Они встретились. Виктор сказал что-то. Рослый Радимов поглядел на него сверху вниз с обычной своей деланой свирепостью и протянул руку.

Некоторое время Вера наблюдала за ними, а затем повернулась к окну.

— Зачем ему Радимов? — спросил Никита Иванович, желая прервать затянувшееся молчание.

— Насколько я понимаю, Радимов может поддержать издание книги, — ответила Вера.

— Чьей?

— Это последняя работа Виктора. О поточных линиях. Опыт двух заводов.

— Молодец Виктор, — сказал Гирин искренне. — И как он только успевает!

— Да, он много работает, очень много.

Из окна им был виден новый институтский корпус, невысокий, всего лишь на два этажа, но весьма фундаментально построенный. Он стоял по другую сторону переулка. На белесые стены уже легли вечерние тени. В глубокой синеве окон кусками отражалось здание клуба.

— Что в этом корпусе? — спросил Никита Иванович.

— Лаборатория хома.

«Хом» — холодная обработка металла. Гирину было приятно услышать от Веры это выражение. Оно сближало, напоминая, что в институте они оба пользовались такими вот специфическими словечками, как «хом».

— Вы часто заглядываете в институт? — снова спросил он.

— Мы живем в этом районе... Иногда нарочно сделаю крюк, чтобы хоть мимо пройти... Тянет, знаете...

— А на таком вечере, как сегодня, вы, конечно, не в первый раз?

— Именно в первый.

— Не верю.

— Воля ваша, но я говорю правду. Мы, москвичи, слишком плохо пользуемся удо-

вольствиями, которые может нам доставить столица.

— Мне кажется, что вы слишком смело обобщаете.

— Пожалуй, да. Но я, хотите — верьте, хотите — нет, уже лет пять не покупала билетов в Большой театр, о существовании Консерватории вообще забыла... Да уж куда смешнее — новое здание Университета я видела только с Крымского моста.

— Очевидно, без конца откладываете: «Успею, посмотрю, Воробьевы горы куда не денутся»? Ведь так? Старая истина — человеку свойственно ценить лишь то, чем он не располагает.

— Возможно... А вы все так же презираете танцы и обожаете серьезную музыку?

Она посмотрела на него значительно, очевидно желая подчеркнуть, что хорошо запомнила, каким он был в институте. Счастливо пораженный и вместе с тем застигнутый врасплох вопросом, Гирин не сразу нашел что ответить.

— Вот теперь вы совсем похожи на прежнего Нику.

Это «Ника» еще более изумило его, и, кажется, впервые за всю их беседу Никита Иванович с исчерпывающей отчетливостью почувствовал, с кем он стоит, с кем разговаривает. Ему стало как-то по-особенному, по-хорошему неловко и тревожно. Он перевел на Веру настороженный, смущен-

щенный взгляд. Она снова улыбнулась и вдруг, тоже смутившись и покраснев, необыкновенно помолодела.

Внезапно рядом вырос Бобровский.

— Радимов завтра примет меня, — доложил он.

Окрыленный и озабоченный одновременно, Бобровский уже сейчас прикидывал, как поведет завтра переговоры с Радимовым, и ни жена, ни Гирин, ни все, что творилось вокруг, не мешало ему. Никита Иванович даже залюбовался им и с легкой завистью подумал, как, по-видимому, любит Вера этого деятельного, умного, красивого человека.

Вера предложила пройтись. Они включились в наладившийся людской круговорот. Вера держала мужа под руку. Безукоризненно стройный, уверенный в себе, он твердо и высоко нес небольшую, аккуратную голову. Время от времени он здоровался энергичным кивком. но это, как видно, не мешало ему продолжать думать о своем.

Гирин шел по другую сторону Веры. В своем чесучовом, простого покроя, свободном кителе он выглядел мешковато. Впечатление неуклюжести усиливали взъерошенные, кудреватые волосы и большие, мохнатые брови. Никита Иванович сутулился, не знал, куда девать руки, и, несмотря на свою достаточно рослую фигуру, казался ниже и незаметнее Бобровского.

Задребезжал звонок, приглашая на торжественную часть вечера. Люди, зашумев так, что звонок стал еле-еле слышен, повалили к распахнувшимся дверям зрительного зала.



На огромную безлюдную сцену вышел Денисов — старейший профессор института. И без того невысокий ростом, он выглядел совсем маленьким за пустым длинным столом для президиума. На старческой голове около ушей топорщился белый пушок. Такие же молочно-белые усы — пышные, довольно браво расчесанные и потому немного смешные — нависали над остреньким подбородком. Добродушно настроенный, какой-то умирительно простой, он принимался собравшимися совсем как домашний дедушка. Ему долго и бурно аплодировали, и он отвечал деликатными, неслышными хлопками, прижав к груди согнутые, расслабленные руки.

Но и после того как замолкли аплодисменты, зал долго не мог успокоиться. Узнавая друг друга, люди не стесняясь выражали свой восторг, перекликались через весь зал, перебирались с места на место.

В первом ряду партера Никита Иванович увидел Радимова. Он стоял, закинув назад свою большую пшеничную голову, и переговаривался с кем-то из сидящих на

балконе с помощью энергичной жестикуляции.

Видимо следуя установившейся традиции, профессор не спешил братья за председательский колокольчик. Слегка повернувшись ухом к залу, он словно прислушивался к бурлящему собранию и думал о чем-то своем, благодушном и трогательном.

Студенты между собой звали Денисова «Зайкой». Ласковое и удивительно меткое прозвище: походка у профессора шустрая, даже немного прыгающая, держался он всегда как-то боком, и глаза косил, а встопорщенные белые усы и слегка вздутые щеки завершали сходство.

Зайке было очень легко сдавать экзамены. Он жалел студентов и страшно расстраивался, когда ему приходилось ставить двойку. Впрочем, это приключалось чрезвычайно редко. И никто не помнил, чтобы профессор уличал кого-нибудь в списывании. Сейчас Никита Иванович подумал, что Денисов, конечно, видел плутовские проделки студентов, но уважение к человеку так развито в нем, что он просто стыдился делать замечания.

Никите Ивановичу представился ясный зимний день, небольшой заснеженный сад, что стоит перед институтом. По аллее, ведущей к главному входу института, спешит профессор — рассеянный, добрый, феноменально скромный человек. Каждый старается поздороваться с ним, и Зайка по-

минутно сдергивает с головы потертую черную шапку-пирожок.

Вслед за этой картиной Никите Ивановичу представились другие столь же милые, столь же ясные и столь же далекие. И когда он услышал какой-то задорно-настойчивый звук, тоненький и чистый, то не сразу сообразил, что профессор взялся за колокольчик.

Зал утих. После короткой вступительной речи профессора один из выпускников института вышел к высокой скобе трибуны и принялся читать список президиума. Каждая фамилия покрывалась долгими аплодисментами, и Никита Иванович подумал, что чтение солидного списка рискует изрядно затянуться. Он обернулся к Бобровскому, чтобы сказать ему об этом, и увидел, что тот, весь подавшись вперед, не сводил с трибуны напряженного взгляда.

— ...Бобровский Виктор Леонидович,— отчетливо донеслось со сцены.

Виктор размяк, довольный. Обернувшись к Никите Ивановичу и Вере, слегка развел руками — вот, дескать, выдвигают, что поделаешь...

Профессор пригласил членов президиума занять места, и Бобровский сразу же стал пробираться к проходу.

Докладчика, заместителя начальника управления кадров министерства, зал слушал лишь первые минуты. Доклад он читал. Читал даже в тех местах, где каждый школьник мог бы все сказать своими сло-

вами. Впрочем, даже это у него выходило плохо. То он, не окончив фразы, делал вдруг остановку, то, наоборот, проглатывал точку и сливал две фразы вместе. Догадавшись, что напутал, докладчик перечитывал искаженное место, мучительно вглядываясь в положенные перед ним листы. Иногда на лице его появлялось даже что-то вроде недоумения, как будто он не совсем соглашался с тем, что ему приходилось произносить.

Словом, создавалось впечатление, что докладчик пока трудился лишь над освоением доклада, а уж само-то его выступление должно состояться когда-нибудь потом. Занятый своим делом, человек на трибуне существовал сам по себе, а зал и президиум также жили каждый своей жизнью.

Бобровский, переговорив кое с кем из сидящих поблизости, перебрался во второй ряд президиума и оказался как раз сзади Денисова. Он намеревался овладеть его вниманием, но профессор азартно толковал о чем-то с Радимовым.

Примерно по истечении часа в поведении докладчика определилась перемена. Он вдруг ударился в пафос и даже позволял себе смелость на секунду-другую отрывать глаза от бумаги. Уловив это знаменательное явление, зал обрадованно заключил, что доклад идет к концу, и приготовился аплодировать.

Когда утомленный докладчик уселся

на свое место в президиуме, начались выступления профессоров и выпускников института. Люди потянулись к живому огоньку простого, взволнованного слова, и общность между трибуной, залом и президиумом восстановилась.

Потом избирались комиссии, которым поручалось укреплять связи между институтом и его питомцами.

Но докладчик хотя и не оставил в памяти людей ничего существенного, сумел настолько утомить их, что даже вторая, интересная и нужная, часть вечера под конец стала в тягость и все с облегчением вздохнули, когда Денисов произнес заключительное, напутствующее слово.

Зал дружно загудел, задвигался. Едва раскрылись двери, как этажом ниже, в самом большом фойе, зажигательно запели трубы оркестра, еще более поднимая настроение людей. Сотни глаз празднично сияли. И, встретившись со взглядом какого-нибудь совсем незнакомого человека, Никита Иванович видел в распахнутых настежь глазах свет радушия и приветия. «Здравствуй, — говорили эти глаза. — Я счастлив видеть тебя, счастлив узнать, что и ты тоже мой однокашник, мой брат, что мы крещены в одной купели».

Именно это выражение прочел Никита Иванович в глазах Радимова, когда тот вместе с другими членами президиума сошел со сцены в зал. Он двигался к выходу

неподалеку от Никиты Ивановича, и пшеничный ежик его волос возвышался над всеми.

Никита Иванович и Вера дожидались Бобровского в зале. Виктору удалось-таки овладеть Денисовым, и они задержались у опустевшего стола президиума, мешая рабочим, которые начали расчищать сцену для концерта. Разговор сложился, очевидно, благоприятно для Бобровского, потому что, когда он сошел со сцены, лицо его откровенно сияло.

Он спешил. С ходу взял жену под руку и сказал энергично:

— Нам пора. Ты уж, Гирин, извини.

Никита Иванович удивился:

— Совсем уходите?

— Ничего не попишешь — дела.

— Ты, по-моему, за весь вечер ни одной минуты даром не потерял. Можно бы и отдохнуть.

Бобровский улыбнулся, польщенный словами однокурсника.

— Отдыхать, Гирин, — это не по мне. Еще раз извини, брат, за мной должна из редакции машина прийти.

Он слегка подтолкнул жену, но она не трогалась с места, глядя мимо мужа, в пустоту зала. За дверями плескался многоголосый говор, в отдалении гремел оркестр, а где-то в ближнем фойе зазвучала песня. Со сцены доносился пронзительный скрип — несколько человек вкатывали рояль.

— Вера, мы же договорились... — Бобровский нетерпеливо глянул на часы.

— Нет, мы не договорились, — возразила она.

— Но пойми — я не могу. Меня ждут.

— Почему ты не назначил встречу на другое время?

— Статья публикуется послезавтра. Я обязан прочесть гранки.

— Прочтешь их завтра.

— Оставим это. Ты знаешь — я хозяин своему слову.

Она сделала паузу.

— Что ж, поезжай. Но... разреши мне остаться!

— Одной!

Лицо Бобровского выразило озадаченность. Но, быстро овладев собой, он рассмехался.

— Нет, как вам нравится? Бунт! Потрясение семейных устоев!

Впрочем, он несколько не расстроился. Снова озабоченно глянул на часы и заключил:

— Что ж, оставайся. Гирин, подкидываю тебе этого ребенка. И прошу — если концерт кончится поздно, проводи ребенка домой.

Крепко пожав руку однокурснику и неопределенно улыбнувшись жене, он поспешно удалился.

Гирин с трудом скрывал нахлынувшее на него волнение. Он не сразу мог определить, как себя держать, что говорить, куда предложить пойти.

— У няньки весьма озабоченный вид, — пошутила Вера.

— Дак... — Никита Иванович произнес типичное уральское «дак» или даже «дэк» вместо обычного «так». — Очень уж ответственный ребенок.

— Ничего, он обещает хорошо себя вести.

Они вышли из зала и снова окунулись в веселую сутолоку вечера.

— Прежде всего я хочу покормить ребенка, — сказал Гирип.

— Ребенок сыт, но нянька, очевидно, сама проголодалась.

— Да, она перекусила утром в министерстве — и с тех пор ни маковой росинки во рту.

— Беденькая! — Вера взяла Никиту Ивановича под руку. — В таком случае давайте пробираться в буфет.

Спустившись этажом ниже, они проделали весьма замысловатый путь через большой зал, заполненный танцующими.

В фойе, оборудованном под буфет, творилась настоящая кутерьма. Рушились симметричные линии столиков. Люди, желая сидеть компаниями, сдвигали по два, по три, а то и по четыре стола вместе. Откуда-то поспешно стаскивались стулья, но их все равно не хватало. Было забавно видеть, как два каких-то грузных, седовласых человека хитроумно размещались на одном стуле и, обнявшись, поддерживали друг друга.

Один столик еще сохранился свободным. Правда, стульев около него уже не осталось, но тем выразительнее выглядели ничем не загороженные тарелки и вазы с разной снедью да несколько бутылок с пивом и водами. Никита Иванович и Вера ринулись к столу. Но одновременно с ними сюда подоспели еще двое претендентов.

— Чур наше, чур наше! — крикнул один из них, толстяк с бритой головой, отяжеленной по крайней мере тремя подбородками.

— Дэк разместимся же, — миролюбиво сказал Никита Иванович.

— А вас только двое? — с деланой подозрительностью спросил толстяк.

— Один, — вмешалась Вера. — Я не в счет.

— Э-э, нет, вдвоем вы нас больше устраиваете. — Толстяк приветливо улыбнулся, без того широкие подбородки еще более раздались в стороны.

Его товарищ, наоборот, отличался необыкновенной худощавостью. Клетчатый пиджак из толстой материи, модный и дешевый, — такие нарасхват покупает молодежь, — висел на нем, как на доске. Впрочем, судя по всему в данном случае обладателя пиджака устраивала лишь цена. Все остальное его, очевидно, абсолютно не интересовало.

Подкрепляться пришлось стоя, и это страшно развеселило компанию. За столиком легко установилась совсем домаш-

няя атмосфера. Еще не успев перезнакомиться, все почувствовали себя так, словно много лет знали друг друга. Толстяк сразу же начал балагурить. Этот жизнерадостный, смешливый человек, казалось, был создан для того, чтобы веселить себя и других. Он сыпал остротами, рассказывал истории одну забавнее другой и при этом больше всех хохотал сам, сотрясая свое огромное тело и поминутно вытирая платком голову и шею.

. Обладатель клетчатого пиджака держался со спокойной, естественной скромностью. Но его глаза — усталые, с красными, воспаленными веками — излучали такое радушие, такую почти детскую, наивную доброту, что невольно хотелось все время улыбаться им в ответ.

Спохватившись, стали откомендовываться друг другу.

— Гонорарий Подвальский, журналист-зд, — представился толстяк, выделяя неправильно произнесенное окончание. Насладившись недоуменными лицами Веры и Никиты Ивановича, представился заново: — Себастьянов Владимир Александрович. Между прочим, действительно журналист. Отделом заведую. И знаете, каким? Строительным. Превратности судьбы — инженер-механик заворачивает строительными делами. В армии переквалифицировался.

Его товарищ откомендовался коротко:

— Даньшин Константин Макарович.
Но Себастьянова такой лаконизм не устраивал.

— Конструктор, изобретатель, — поспешил он доложить. — Сейчас по моему заказу машину выдумывает — будем брить крыжовник и продавать за виноград. Хотите к нам в компанию? Выгодная коммерция.

И снова все дружно расхохотались, потому что всем было очень весело и смех безудержно вырывался сам собой, по любому поводу и без повода.

Впрочем, утихомирившись немного, Себастьянов сказал тепло и просто:

— А вообще-то Костя замечательный инженер и изобретатель. Да вы, конечно, слыхали о нем.

Никита Иванович действительно слышал о Даньшине, но где и в связи с чем не мог припомнить.

Фамилия Веры заставила Себастьянова насторожиться.

— Не имеете ли вы отношения к Виктору Леонидовичу Бобровскому? — спросил он. Услышав ответ, закивал массивной своей головой. — Как же, как же, знаю его. Активный автор.

На какое-то мгновение на лице его мелькнуло выражение официальности и даже некоторой суховатости. Но только на мгновение. Он поднял свой стакан, наполненный минеральной водой, и сказал в шутливо-торжественном тоне:

— За знакомство!

Осушив стакан, крикнул и вдруг произнес:

Не лазь, Володя, на высотку,
Не пей вино, коньяк и водку,
Рубай боржом —
Держись ежом!

Его заразительная веселость опять легко овладела компанией, и когда он отправился искать какого-то Алешу и других своих однокашников, все сожалели об этом. Впрочем, Себастьянов дал слово, что скоро вернется.

— Насчет боржома Владимир Александрович неспроста стишки сочинил, — сказал Даньшин, когда Себастьянов удалился. — Ему даже сухого, кисленького вина пить нельзя. Нисколько. У него, видите ли, страшная гипертония. Давление, не поверите, до двухсот сорока подскакивает. Он уже два удара перенес. И знали бы вы, каких! Врачи только руками развели, когда убедились, что он выкарабкаться сумел.

Говорил Даньшин негромко, неторопливо и твердо, округлыми, правильными фразами. Было видно, что он привык требовательно относиться к своей речи и тщательно взвешивал каждое слово, прежде чем его произнести.

Даньшин вдруг задумался. Он словно забыл о собеседниках, устремив в какую-то дальнюю точку лучистые глаза.

Вера и Никита Иванович тихонько стукнулись бокалами.

— За твоё счастье... Ыижик!

— И за твое... Ника!

А вокруг все жарче бурлило веселье. Очевидно, звонок на концерт уже давно прозвучал, но здесь его не слышали. Да это никого и не беспокоило. Вот в дальнем конце зала грянула песня. По этой ныне неизвестной, забытой песне легко угадывалось, что там собрались люди, которые учились вместе еще в двадцатых годах. Они пели о забияках комсомольцах, что объявили войну попу Сергею и всей его братии — пономарям да звонарям. Особенно зычно гремел припев:

Ай да ребята, ай да комсомольцы,
Браво, браво, браво, молодцы!

Вот в другой стороне зала женские голоса затянули звонко:

Ты, моряк, красивый сам собою,
Тебе от роду двадцать лет...

И десятки людей подхватили:

Полюби меня, моряк, душою.
Что ты скажешь мне в ответ?

Неотрывно глядя в глаза друг другу, Никита Иванович и Вера включились в песню:

По морям, по волнам,
Нынче здесь — завтра там...

Они пели все взволнованнее, все громче, чувствуя, как песня еще больше сближает их. Слова сами по себе легко и ярко вспы-

хивали в памяти. Раздольный, как морская волна, напев будил в душе восторженные, окрыляющие силы.

Теперь две песни, тесня и захлестывая одна другую, раскатывались по залу. «Ай да ребята, ай да комсомольцы!..» — громыхало в одной стороне. «По-о морям, морям, морям, морям...» — звучало в другой.

И в это задористое состязание двух песен стала настойчиво вторгаться третья:

Под солнцем горячим, под ночью слепую
Немало пришлось нам пройти, —

напевно и властно пробивала себе дорогу «Каховка», любимица предвоенных, тридцатых годов.

Но вот заявили о себе и сороковые годы. «Я по свету немало хаживал...» — ударили свежие голоса.

Четыре хора звучали в зале — люди разных лет, разных поколений.

Появился Себастьянов с большой компанией и, что удивительнее всего, под руку с Радимовым и Денисовым.

— Здорово, студент! — прогудел Радимов, и худенький Даньшин утонул в его медвежьих объятиях.

Радимов и оказался Алешей.

Профессору налили вина. Держа маленький бокал вздрагивающей рукой, он оглядел притихшую компанию. На каждом останавливались его острые глаза, и каждому кивал он, как своему хорошему зна-

комому. И было что-то удивительно симпатичное в наивной попытке старика сделать вид, что он всех припомнил, всех узнал.

Когда Зайку утащили к другому столу, Радимов свирепо оглядел компанию и пробасил:

— Закурим, студенты!

Радимов полез в карман, и Гирин решил, что он вытащит свою знаменитую трубку. Но вместо нее у него в руке оказалась маленькая пачка папирос в серой бумажной упаковке. Подняв ее, Радимов показал марку.

— «Тачанка!» — восторженно крикнули сразу несколько человек.

«Тачанка!» Милая студенческая довоенная «Тачанка!» Тридцать пять копеек пачка — самая раздешевка! И как это Радимов ухитрился сохранить ее!

Да, она не слишком обременяла легкий студенческий карман. И все же иногда целой комнатой собирали медяки на одну пачку. Буханка черного хлеба, сто граммов сахара, чайник кипятку да «Тачанка» — вот и все, что требовалось для счастья четырех обитателей комнаты студенческого общежития в те критические моменты, когда до стипендии оставалось только сорок восемь часов, но движение времени возмутительно замедлялось.

Легендарная «Тачанка!» Забористая, ядовитая, она щадила карман, но не щадила горло. Не всякий мог удержаться

от кашля, хватив злого дымочка. Недаром же и звали ее студенты «зверь, с дороги уходи!»

Себастьянов по-дирижерски вскинул руки и запел:

Ты лети с дороги, птица...

Песню подхватили.

За столиком стало тесно. Радимов, правда не без труда, узнал Гирина и отнеся к нему с большой симпатией — очевидно, вспомнилось сибирское житье, и воспоминания эти растрогали. Впрочем, Гирин — единственный представитель провинции, пользовался у всей компании особым расположением. Его заставили записать множество домашних адресов и телефонов, приглашали перебраться к себе на постой из гостиницы.

Много пели. А между песнями вышучивали друг друга.

За Себастьяновым, видимо, еще с давних времен закрепилось прозвище, короткое, звучное — «Бах». Никите Ивановичу ничего не стоило догадаться, откуда оно взялось. Иоганн Себастьян — так звали великого Баха. И был он, как известно, жизнелюбивый, толстый человек.

Бах оставался главной, непрестанно действующей пружиной веселья. Только однажды он изменил себе.

Веру увлекли танцевать, и между Себастьяновым и Гириным зашел разговор о Бобровском.

— Растет парень, — не без гордости за своего однокурсника заметил Никита Иванович.

— Растет... только больше в сук растет, — ответил Бах.

Это прозвучало без обычного себастьяновского добродушия. Возможно, что он пожалел о своей откровенности и не прочь был бы замять разговор. Но было уже поздно, настойчивый взгляд Гирина требовал разъяснений.

— Мужик писучий, ничего не скажешь. Силовое резанье металла? Извольте, будет вам подвальчик в газете. Поточные линии на механическом заводе? О господи, да мы в этом деле собаку съели! Вот вам книжица, спешите издать. Скоростные плавки? Не совсем наш профиль, но ничего, осветим и эту тему... Печатайте, издавайте! Титул почтенный: кандидат наук, научный сотрудник научно-исследовательского института — сплошная ученость. А приглядеться — так учености не больше, чем волос на курином яйце. Делец, ловкий человек, умеющий деньги загребать — вот и все.

Слушая Себастьянова, Никита Иванович испытывал смешанное, сложное чувство удивления, обиды и маленького торжества.

— Почему же в таком случае его печатают? — спросил Гирин, стараясь придать своему голосу оттенок недоверия и недовольства.

— По пути наименьшего сопротивления идем. Чтобы у настоящего ученого или специалиста статью выцарапать, надо же пуд соли съесть. Вот и пасуем...

— Но, видимо, Бобровский по-своему счастлив?

— А черта ли нам всем от этого! Надо, чтобы человек своим счастьем других согревал.

Себастьянов любовно посмотрел на Даньшина, который объяснял что-то Радимову, прошелся большим платком по голове и шее и, решив, что отступление в область серьезных тем слишком затянулось, громко спросил:

— Костя, а в каком состоянии проблема будильника?

Вопрос вызвал взрыв хохота — видимо, «проблема» обсуждалась не в первый раз. Вместе со всеми добродушно рассмеялся и Даньшин.

— Да, представь себе, все в том же.

— Значит, на боку?

— На боку.

Снова раздался общий хохот.

Оказывается, как-то у Даньшина забастовал будильник, и хозяин сам починил его. Правда, не очень успешно. Появилась у будильника одна причуда — он работал лишь в том случае, когда его клали на бок. Но все-таки работал. «Ну что ж, — рассудил хозяин, — пусть пока тикает на боку. Выпадет свободный час — можно снова подремонтировать».

С тех пор минуло немало лет, а будильник все в том же состоянии продолжает служить хозяину, недоуменно свесив набок белую свою головку. По утверждению Баха, Костя теперь даже не сразу может определить время, если видит часы в нормальном положении.

Вечер покатился дальше. Народу прибавилось, потому что кончился короткий концерт. В фойе пришел клубный баянист — известный нескольким поколениям студентов массовик-заводила, бог знает когда поступивший в институт, но так и не окончивший его из-за своего слишком большого пристрастия к жаркой клубной колготне. У него уже начисто побелели волосы, но странная вещь — это не бросалось в глаза, и вообще казалось, что он несколько не постарел.

Где баян, там и пляска. И хотя немногие отважились выброситься на середину, но когда на все свои сто голосов поет баян, когда в кругу выделяются немислимые коленца и выстукивается самая лихая дробь, тогда зритель сливается с танцорами и, ахая в самозабвении, поддакивает им всем своим существом.

Потом пели русскую старинную «Над полями да над чистыми». Пели, вкладывая в каждое слово все волнение души своей, пели, развернувшись во всю силушку и ширь молодецкой русской натуры. И вставали перед глазами неоглядные заснеженные поля, все в серебряных искрах,

и ясный месяц, что белою птицей летит над ними. Пели и неслись вместе с песней на удалой тройке, разбрасывая по полям заливной звон бубенцов. И дышали морозной свежестью, и полнились молодой огневой силой...

Только Радимов молча переживал песню. Может быть, он вообще никогда не пел, а может быть, ему мешала трубка, которую он не мог не воткнуть в рот в такой захватывающий момент. Но покачиванием головы и движениями бровей он по своему вторил поющим.

Когда на какой-то миг стало вдруг тише и в фойе вкатились звуки оркестра, Вера по-девичьи шустро потащила Никиту Ивановича в танцевальный зал. Кажется, впервые в жизни Гири́н решился танцевать при таком многолюдье. Но он не думал об этом и с отчаянной беззаботностью ввел Веру в круг танцующих. Он не знал, хорошо или плохо у него получается, он даже не очень слышал музыку, подчиняясь ей безотчетно и легко. Он видел, сознавал, чувствовал лишь одно — с ним Вера, на него устремлены ее глаза, ее талию обнимает его рука...



Когда они уходили из клуба, вверху еще буйствовал оркестр и шум веселья доплескивался сюда, в вестибюль, к сонным гардеробщицам и пожарным. Держа нагр-

тове легкий шелковый плащ, Никита Иванович поджидал, пока Вера наденет шляпку и шарфик. Глаза Веры блестели, лицо залил румянец. Она улыбалась ему из зеркала, возбужденная, удивительно помолодевшая. Да и сам Никита Иванович, словно переродившись, был, как юноша, полон жаркого, беззаботного счастья. Хотелось много двигаться, дурачиться, хохотать, подмывало отколоть что-нибудь такое совсем мальчишеское, из ряда вон выходящее.

На каменной площадке подъезда их обступила светлая, торжественно тихая летняя ночь. Сзади неслышно покачивалась массивная дверь, сверху, из окон клуба, бледным потоком лился на пустынную улицу свет. Улица уходила в покойную даль. Она словно наслаждалась безлюдьем и прохладой — обнаженная, задумчивая, молчаливая.

Спустившись с подъезда, Никита Иванович замедлил шаг. Он сделал так потому, что ночь мягко и властно настраивала на свой лад, и еще потому, что Вера жила недалеко и им немного предстояло пройти вдвоем.

Теперь на смену смешливому, дурашливому настроению, которое до сих пор владело Гириным, явилось затаенное и нетерпеливое ожидание того, что должно произойти дальше. Он почти не сомневался — что-то должно еще произойти. Они переступят черту тех отношений и поступков, которыми ограничивались до сих пор.

Гирин хотел большего, и ему казалось, что этого же хочет Вера. Иначе зачем же она осталась с ним в клубе, зачем только с ним танцевала охотнее всего, зачем сейчас так же, как и он, старается идти медленнее и молчит, молчит, очевидно боясь, что голос выдаст ее волнение?

Ему не было сейчас никакого дела до завтрашнего дня, до всего, что существовало за пределами этой ночи, этой пустынной улицы и этого горячего, трепетного ожидания, которое все сильнее овладевало им.

Они шли совсем рядом, но не касаясь друг друга. Изредка на них набегал осторожный, неслышный ветер, и тогда вкрадчиво лепетал что-то Верин плащ.

Их догоняла машина. Гирин решил, что едет Радимов. Но когда машина поравнялась с ними, Никита Иванович увидел, что в ней только шофер. Наверное, Радимов пошел пешком с друзьями. Возможно, что они идут сзади. Гирин обернулся, но тотчас же подумал, что, конечно, он услышал бы их.

Вера тоже обернулась и затем подняла на Гирина вопросительный взгляд. Никита Иванович понял его по-своему и взял ее за плечи.

Она не выразила ни удивления, ни негодования. И она не поспешила снять его руки со своих плеч. Лицо ее оставалось спокойно-приветливо. И только тогда, когда он, сильнее сжав руки, хотел испытать

ее податливость, Вера улыбнулась с легким укором и высвободилась.

Они пошли дальше.

— Помнишь, в институте ты носил серенькую куртку, по-моему, вельветовую, с «молнией»? — спросила Вера, прерывая неловкое молчание.

— А как же, помню...

— Сегодня все были словно в таких вельветовых куртках — и ты, и Радимов, и Бах, и Даньшин...

— И ты?

— И даже я. Все... Но лучше всех был ты, лучше и дороже — милый, смешной Ника в вельветовой куртке...

— Ника лучше всех, Ника дороже всех, но... маленькая проказница Вера опять подшутила над ним.

— Ты не должен сердиться на нее. Не часто выпадает счастье заново пережить частичку своей юности.

Они рассмеялись. С Гирина схлынула его горячность. В душе он немножко подтрунивал над собой, но чувствовал, что ему опять становится легко и свободно.

Некоторое время они брели молча, ощущая в себе чудесную, опьяняющую усталость, роняя на землю неторопливые, невесомые шаги.

— Ты встречаешься с кем-нибудь из своих институтских друзей? — спросила Вера.

— Нет, всех растерял.

— Очевидно, не по своей вине?

— Ну, если по чести говорить, то переписываться мог бы. А кто переписывается, тот, наверное, и встречается.

— Да, мы слишком легко теряем друг друга из виду. А ведь, если вдуматься, дружба — это же большая радость жизни. Особенно та, что родилась еще в юности. Она — как очаг. Бегут годы, а очаг все горит и горит. И пламень в нем все тот же — пламень, загоревшийся в юности. Подойдет к нему человек, протянет руки и почувствует его ободряющее дыхание.

И снова шли они молча, вороша свои впечатления и мысли, отбирая то, что уместнее сказать сейчас.

— Никак не могу представить себе твою жену, — Вера в раздумье пожала плечами. — Ты говоришь, она учительница?

— Да, литературу и русский преподает в вечерней школе.

— Учительница... Очевидно, она в очках, с портфелем, добрая, рассеянная.

Гирин улыбнулся.

— Все неправильно. Очков не носит, вместо портфеля ультрасовременная папка с «молнией». И никакой рассеянности, скорее наоборот.

Он не прочь был бы ничего не добавлять больше, но Вера выжидательно смотрела на него, и ему пришлось продолжать. Постепенно он разговорился и как-то помимо своей воли начал наделять жену новыми и новыми достоинствами. Гирин чувствовал, что его слова находятся в вопию-

шем противоречии с тем, что он совсем недавно, в гостинице, думал о жене, но он ничего не мог с собой поделать. И чем больше он говорил, тем сильнее ему хотелось представить жену в самом лучшем свете.

Ему стало очень не по себе. Не по себе оттого, что портрет, который он рисовал, был, кажется, довольно близок к истине, и оттого, что весь разговор о жене напомнил ему о домашних неприятностях.

— Я рада за тебя, — коротко бросила Вера, размышляя о чем-то своем. И от ее слов на душе у Никиты Ивановича стало еще более смутно.

Они вышли на широкую, как река, улицу.

— Вот и последний поворот. Вон мой дом. Видишь, книжный магазин? Он как раз под нашей квартирой. Не магазин, а сущее разорение. Как появится что-нибудь новенькое, так мой сынишка за деньгами бежит. Уже книжный шкаф выпрашивает для себя. А муж против. Между ними на этой почве дипломатические осложнения...

У нее возникла вдруг потребность говорить. Она оживилась, шутила, смеялась. Но возбуждение ее выглядело каким-то лишним, непонятно отчего появившимся.

Потом она снова начала пытаться Никиту Ивановича вопросами:

— Говорят, у вас в Перми неплохой оперный театр?

— Да. Старый, с традициями.

— Вы часто бываете в нем?

Гирин неопределенно пожал плечами.

— А жена твоя любит музыку?

Гирин медлил с ответом. Любит ли она музыку? Еще бы! Он и увидел-то ее в первый раз на концерте. Слушали Грига. Она сидела впереди него, туго стянув на плечах дешевенький зимний платок, вся сжавшись от холода. Шел последний год войны, в зале плохо топили. Да и людей собралось мало, и они не смогли согреть дыханием большое помещение...

— Так любит или нет?

— ...Да... очень...

Вера остановилась, и Никита Иванович увидел перед собой широкие витрины книжного магазина. Вокруг все замерло в недвижности и молчании. Только в зажатой неоновой рекламе магазина — коротком слове «Книги» — последняя буква горела почему-то тревожным, дергающимся огнем.

Неподалеку от рекламы, за распахнутой створкой окна, одиноко светился бодрствующий огонь настольной лампы. Вера осторожно, словно нехотя, покосилась на него.

— Виктор? — спросил Никита Иванович.

Она кивнула утвердительно.

— Сидит... А вечер-то был какой! — сказал Гирин.

Она снова молча кивнула.

В нем вспыхнуло возмущение:

— Черт знает что такое! Сам себя человек обкрадывает.

— Если бы только себя... — промолвила она почти шепотом.

Ее слова задели его не только той плохо скрытой болью, которая послышалась в них, но еще чем-то другим, страшно неожиданным и тревожным.

Вера протянула руку.

— Ну, прощай, родной!

— Прощай... Чижик!

— Прощай, Ника... Ника в вельветовой куртке.

Ее каменно-бледное, напряженное лицо имело выражение горестного раздумья. Глаза смотрели прямо на Гирина, но, казалось, видели они не столько его, сколько что-то другое, стоящее за ним.

Она заспешила во двор дома через тонелеобразный проезд суетливой, неровной походкой. Миновав проезд, обернулась, наскоро помахала рукой и, свернув в сторону, скрылась.

В проезд Гирин заметил часть двора, вернее — часть сада, устроенного во дворе. Молодые, ветвистые деревья сплелись листвою, и казалось удивительным, как могут держать ее темную, тучную массу тоненькие, долгоязыые стволы. Очевидно, сквер обильно поливался с вечера, потому что через проезд на улицу выбежала сырая дорожка.

Все эти детали сами по себе ложились в памяти, хотя Гирин совсем не думал

о том, что сейчас видел и что его окружало. Он глядел на темный проезд, на сырую дорожку посредине него, на кусочек сада за проездом, а из головы никак не шла Верина фраза, которая так задела его. Он повторил ее: «Если бы только себя...», — повторил, стараясь в точности восстановить даже интонацию, с которой она была произнесена. Как-то мимоходом, удивительно равнодушно он отметил, что, кажется, Вера несчастлива, что, пожалуй, она не любит Виктора. Но его внимание не задержалось на этой мысли, потому что больше всего он хотел сейчас определить, почему так неотступно тревожила его Верина фраза.

«Если бы только себя...» Ему подумалось, что точно такие же слова он уже слышал прежде. И как только ему подумалось это, как он сразу же с поразительной отчетливостью вспомнил разговор с женой, страшно короткий и единственный за весь тот несчастный вечер, когда он не пошел на родительское собрание. Они сели ужинать: «Ну, брось дуться из-за пустяков, — начал Никита Иванович. — Ведь у ребят все в порядке». — «Не в ребятах дело». — «А в ком? Во мне, что ли?» — «Если бы только в тебе...»

...Еще раз скользнув взглядом по витринам магазина, проезду и всему этому чужому, безразличному месту, Гирин зашагал от Вериного дома.

Ноги поламывало, но разгоряченная го-

лова не хотела отдыха. Кажется, никогда еще им не владело столь острое желание немедленно, сейчас же, увидеться с женой. Увидеться, чтобы заглянуть к ней в душу, чтобы выяснить десятки, сотни беспокоящих, пугающих вопросов, которые разом нахлынули на него.

Подгоняемый ими, он убыстрял шаги, словно хотел скорее прийти куда-то, хотя никуда не спешил. Гирин не сразу заметил это, а когда заметил, то подумал, как удивилась бы жена, если бы увидела, что он несется по улице, словно семнадцатилетний мальчишка. И, как будто боясь, что жена или кто-то другой действительно увидят его, Никита Иванович невольно замедлил шаги и неожиданно для самого себя сделал движение рукой к сердцу.

Механическое, выработанное привычкой движение. Поймав себя на нем, Гирин с досадой отбросил руку и, словно назло своему опасливому движению, назло всей своей чрезмерной внимательности к сердцу, снова зашагал так же широко и быстро, как шагал прежде.

На большой улице, которой он возвращался, показалась группа людей. Они двигались медленно, беспорядочной тесной кучкой. Конечно, они могли идти только отсюда — из клуба, попутчики или друзья, которые никак не хотят расстаться. Едва их голоса, их смех вкатились в безмолвную ширь проспекта, как на Гирина снова повеяло радостной, освежающей атмосфе-

рой институтского вечера, его встречами, песнями, музыкой. Толстяк Бах, гигант Радимов, щуплый, нескладный Даньшин снова встали перед глазами Гирина — такие разные внешне, но такие схожие своим юношески жадным отношением к жизни.

«Рубай боржом — держись ежом!» — повторил Никита Иванович смешной себастьяновский стишок. «Держись ежом...» Ему вспомнилось вдруг, как днем, в министерстве, директор подтрунивал над его недомоганием. Вспомнилось, что в последнее время, когда он брал бюллетень, уж никто не приходил с завода навестить его. А когда он, отлежав отпущенные врачом дни, снова являлся на работу, его встречали недоверчивыми или ироническими взглядами.

Уж не выдумал ли он вместе с врачами свою болезнь? Не начал ли опускаться, закисать — без сопротивления, без борьбы сдавать позиции перед старостью? И даже не перед старостью — какая же старость в сорок с небольшим лет! — а просто перед первыми признаками некоторого постарения.

Им овладела вдруг какая-то злая удадь, и он принялся отхлестывать себя самыми обидными, самыми беспощадными словами. И чем обиднее, чем безжалостнее были эти слова, тем легче становилось у него на душе.

Он решил, что должен поскорее добраться до гостиницы и написать жене письмо. Но, прикинув, что, пожалуй, сам

приедет домой прежде письма, он отбросил эту мысль. Тогда ему пришло в голову другое, совершенно неожиданное решение — пойти на телефонную станцию и позвонить домой. Ну просто взять и позвонить.

Он не представлял, что спросит жену и что скажет ей, не сознавал ясно, зачем вообще нужен этот звонок. Здравый смысл подсказывал ему, что глупо в три часа ночи поднимать жену, что уж если звонить, то звонить днем или даже вечером, когда он купит все заказанные ею вещи. Но какой-то неугомонный внутренний голос стоял на своем, не желая считаться ни с поздним временем, ни со здравым смыслом.

Гирин еще колебался, еще спорил сам с собой, но уже наметил кратчайший маршрут до телефонной станции и уже спешил по этому маршруту.

Он шел теми же кварталами, которыми провожал Веру, и, свернув с широкой улицы, снова приближался к институтскому клубу. Сделав еще один поворот, Никита Иванович увидел вдали обильно остекленное знакомое здание. Оно все еще было наполнено ярким светом и походило на огромный фонарь. И так ликующе, так дерзко горел, светил этот чудесный фонарь среди тихой, безбрежной ночи, что казалось, никогда не угасал он и никогда не угаснет.

СОДЕРЖАНИЕ

Перед новосельем	3
Пепельница	53
Мама Шура	73
У родного дома	111
Ночной звонок	126

*Владимир Васильевич
Ханжин*

НОЧНОЙ ЗВОНОК

Редактор *В. М. Вилкова*

Художник *А. Д. Сталидзан*

Худож. редактор *Е. И. Балашева*

Техн. редактор *З. Г. Игнатова*

Корректоры *А. М. Мартынов*
и *Ф. Л. Эльштейн*

Сдано в набор 26/III 1960 г. Подписано
в печать 20/VI 1960 г. А 03969. Бумага
70×92 $\frac{1}{32}$. Печ. л. 5,63 (6,58). Уч.-изд. л. 5,68

Тираж 30 000. Заказ № 650.

Цена 2 р. 30 к.

С 1/I 1961 г. цена 23 к.

Издательство «Советский писатель»
Москва К-9, Б. Гнезниковский пер., 10

Типография № 5 УПП Ленсовнархоза
Ленинград, Красная ул., 1/3

2 р. 30 к.

В.И.И. 1961 г. Цена 23 к.

В. ХАЖИИ ♦ НОЧНОЙ ЗВОНОК